ЛАРА ВЕЙН

ХРОНИКИ КАРАНТИНА

ПЯТИДЕСЯТЫЙ ЛИСТ



Лара Вейн

Хроники Карантина. Пятидесятый лист

«Автор»
2026

Вейн Л.

Хроники Карантина. Пятидесятый лист / Л. Вейн — «Автор», 2026

Из Рима приходит письмо на латыни: «Ты та, которая отказалась. Приди, пока я жив». Бывший охранник по прозвищу Тихий везёт его Софье Ланской. Под собором Святого Петра пятьсот лет хранится шкаф без номера, в нём лист-зеркало. Один видит в нём только себя. Аргентинский наследник готов на всё, чтобы прочитать его первым.

© Вейн Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Вместо предисловия 6
Пролог 8
Глава 1. Сторож 14
Глава 2. Конверт 19
Глава 3. Три пластинки 24
Глава 4. Остров 29
Глава 5. Канал 35
Глава 6. Барилоче 40
Глава 7. Цюрих 45
Глава 8. Рим 50
Конец ознакомительного фрагмента. 51

Лара Вейн
Хроники Карантина. Пятидесятый лист

Лара Вейн
Хроники Карантина
Пятидесятый лист
Роман

Вместо предисловия

Роман является художественным произведением. Исторические лица и события изображены в нём в вымышленных обстоятельствах; диалоги и частная жизнь исторических персонажей — плод авторского воображения. Все современные персонажи, включая служителей Ватикана, вымышлены, любые совпадения случайны.

Льву

Лёва, ты меня не знаешь.

То есть знаешь. Ты дёргаешь меня за палец, когда я прихожу. Ты зовёшь меня «Дей», потому что «Андрей» тебе пока длинно. Ты отдал мне в прошлый раз свою ложку, и я до сих пор не понимаю, что это значило, а твоя мама говорит — это высшая награда, у тебя в жизни таких было три.

Но ты не знаешь, кто я.

Когда вырастешь, ты прочитаешь папину тетрадь. Синюю, с пятном от чая. Там я есть. Там меня зовут Тихий. Я там приезжаю ночью к твоему прадеду Льву Аркадьевичу в Александров, и стою за его стулом, и смотрю, как он умирает. Я там гоняюсь за твоими мамой и папой по всей стране. Я там делаю много такого, после чего человека не зовут на крестины.

Потом ты прочитаешь мамину. Там меня зовут Андрей. Там я живу в сарае с рыжим котом и молчу.

Это — третья тетрадь. Моя.

Мне её велела написать твоя мама. Она сказала: «Каждый, кто там был, должен оставить Лёве свою тетрадь. Чтобы он сам решил, кому верить». Я сказал: я не умею писать. Я писал отчёты. Объект, время, место, действие. Она сказала: «Вот так и пиши. Объект — ты. Время — осень. Место — Рим. Действие — потом разберёмся».

Я пишу.

Я буду писать «я». Твой папа писал о себе «Максим», потому что ему было стыдно. Мне стыдно больше, чем ему. Но если я начну писать о себе «он», я опять стану тем, кто стоит за стулом. А я больше не хочу им быть.

Почерк у меня плохой. На левой руке не хватает двух пальцев. Я пишу правой, но привык прижимать лист левой, а теперь прижимать нечем. Лист ездит. Прости.

Есть ещё одна причина, почему я пишу. Я скажу её в конце. Если досчитаю.

Начну.

Андрей.

* * *

Факты

Ватиканская апостольская библиотека официально учреждена папой Сикстом IV в 1475 году. В её фондах около 75 тысяч рукописей и более миллиона печатных книг. Доступ к ним открыт учёным, которые подтвердили свою квалификацию и цель работы.

Ватиканский апостольский архив выделен из библиотеки в начале XVII века. До 2019 года он назывался Тайным: латинское слово «secretum» означает «личный, закрытый для посторонних». Длина его полок — около 85 километров. Часть фондов хранится в подземном хранилище под двором Пинии.

Пергамент из Шинона — документ 1308 года, в котором папа Климент V снимает с руководителей ордена тамплиеров обвинение в ереси. Почти семьсот лет он пролежал в архиве под неточным шифром. Его заново обнаружили в 2001 году.

Иезуит Антонио Поссевино в 1581–1582 годах был папским послом при Иване Грозном и посредничал при заключении Ям-Запольского мира. Его донесения о Московии сохранились.

Зоя (Софья) Палеолог, племянница последнего византийского императора, выросла в Риме под опекой папского двора и кардинала Виссариона Никейского. В 1472 году она уехала в Москву невестой Ивана III.

Бенедиктинец Пеллегрино Эрнетти (1925–1994) утверждал, что построил прибор, способный показывать картины прошлого, — «хроновизор». В 1972 году итальянский журнал напечатал «снимок распятия», сделанный будто бы с его помощью. Снимок оказался копией с открытки.

Рукопись Войнича — иллюстрированный кодекс XV века, написанный неизвестным письмом. Её текст не прочитан до сих пор. Последним известным владельцем рукописи до её продажи в 1912 году был орден иезуитов.

Под собором Святого Петра лежит римский некрополь, раскопанный в 1939–1950 годах. Туда водят небольшие группы по предварительной записи.

Пассетто ди Борго — крытый ход длиной около восьмисот метров по стене от Ватикана к замку Святого Ангела. В 1527 году, во время разграбления Рима, по нему бежал папа Климент VII.

После Второй мировой войны часть нацистских преступников бежала из Европы в Южную Америку через Италию. Эти пути позже назвали «крысиными тропами». Часть беглецов получила помощь от отдельных церковных деятелей в Риме.

Все исторические места, упомянутые в романе, существуют. Все документы, хранилища, ордена и организации, а также события, связанные с ними, вымышлены.

* * *

Пролог

Рим. 21 ноября 1947 года, 22:10

Отец Игнацио Ферро, двадцати семи лет, архивист, понял, что его послали не за книгой, когда увидел на лестнице следы мокрых сапог.

Сапоги были армейские. Немецкие. С подковками на каблуках. Он знал этот звук. Он слышал его четыре года назад, в сентябре сорок третьего, когда такие сапоги впервые прошли по брусчатке у колоннады Святого Петра и остановились на белой черте, нарисованной на камне, — у границы, которую нельзя было переступать. Они не переступили. Постояли. Ушли.

Теперь эти сапоги поднимались по лестнице странноприимного дома на виа деи Серпенти. Без хозяина. Хозяин был наверху. Сапоги стояли у двери на третьем этаже, а следы от них — на каждой ступеньке.

Значит, человек пришёл недавно. Значит, шёл пешком. Под дождём. Значит, у него не было зонта. Значит, у него не было ничего.

Отец Игнацио постоял у двери. Снял шляпу. Стряхнул воду.

Постучал.

* * *

Комната была маленькой, с низким потолком и окном во двор. Кровать, стол, два стула, распятие над кроватью, керосиновая лампа на столе. Электричество в этом доме давали до девяти, потом выключали. Экономили. Всё в Риме в сорок седьмом году экономили.

За столом сидел человек.

Сорок с небольшим. Худой. Небритый. В чужом пиджаке, слишком широком в плечах. Волосы светлые, коротко стриженные, начинающие седеть на висках. Лицо — правильное, костистое, северное, из тех, что в тридцатые годы печатали на плакатах. Только плакатные лица не бывают такими серыми.

Руки он держал на столе. Ладонями вниз. Под ладонями — свёрток. Небольшой. Плоский. Завёрнутый в солдатское полотенце.

— Вы от отца Бенедикта? — спросил человек. По-итальянски. Хорошо, книжно, с тем акцентом, который в Риме сразу узнают: так говорят немцы, выучившие язык по Данте.

— Я от архива, — сказал отец Игнацио. — Отец Бенедикт попросил меня посмотреть. Он сказал, что у вас есть вещь, которую вы хотите отдать Церкви.

— Продать.

— Церковь не покупает.

Человек усмехнулся. Уголком рта.

— Всё покупает, — сказал он. — Все покупают. Мне обещали. В Генуе ждёт корабль. «Санта-Фе». Двадцать восьмого. До Буэнос-Айреса. Билет стоит денег. Паспорт стоит денег. Красный Крест выдаёт бумаги бесплатно, но те, кто их выдаёт, бесплатно не работают.

Отец Игнацио молчал.

Он знал, кто этот человек. Не по имени — по существу. В Риме сорок седьмого года таких было много. Они приходили с севера, через перевалы, через Больцано, через Мерано. Они приходили в монастыри, в странноприимные дома, в коллегии. Они говорили, что они беженцы. Иногда это было правдой. Иногда — нет. Среди тех, кто им помогал, были люди, которые не спрашивали. Были люди, которые спрашивали и всё равно помогали. И были люди — один епископ в немецкой церкви у пьяцца Навона, о котором в коридорах архива говорили шёпотом, — которые помогали именно потому, что знали ответ.

Отец Игнацио не был из таких. Ему было двадцать семь лет. Он девять лет разбирал пергаменты в подвалах. Он прошёл войну, не выходя из-под земли. Он не знал, кто прав. Он знал, что его послали посмотреть.

— Покажите, — сказал он.

* * *

Человек развернул полотенце.

Медленно. Как разворачивают бинт на ране.

Под полотенцем была пластина.

Металлическая. Белая. Не серебро — серебро темнеет, а эта не темнела. С ладонь величиной. Неровный край с одной стороны — как будто её отломили от чего-то большего. Три ровных края с других. Толщиной с картон.

И на ней — знаки.

Мелкие. Плотные. Ровными строками. Не буквы — отец Игнацио знал буквы двенадцати алфавитов, — и не рисунки. Что-то между. Чёрточки, кружки, точки. Как следы птиц на мокром песке, если бы птицы умели писать.

Отец Игнацио перестал дышать.

Он видел эти знаки.

Один раз. Два года назад. В нижнем хранилище, куда его пустили только потому, что старый хранитель, отец Луиджи, начал слепнуть, и ему нужны были чужие глаза. В деревянной описи шкафа, номер которого не значился ни в одном каталоге. На одном листе. Перерисованные чьей-то рукой в шестнадцатом веке. С пометкой на полях по-латыни: «Писано на белом металле. Не ржавеет. Не прочтено».

— Откуда это? — спросил он.

Человек смотрел на него. Долго.

— Вы узнали, — сказал он. Не спрашивая.

Отец Игнацио не ответил.

— Вы узнали, — повторил человек. И впервые за весь разговор в его серых глазах что-то зажглось. — Значит, это правда. Значит, я не сумасшедший. — Он засмеялся. Коротко, хрипло. — Меня зовут Эрих Штерн. Доктор Эрих Штерн. Я археолог. Я был в Крыму. В сорок втором. В Херсонесе. Там, где греки. Там, где ваш святой Андрей проповедовал, а потом ваш святой Климент умер в ссылке. — Он положил ладонь на пластину. — Мы копали у бухты. Карантинной. Её так называют русские. Под монастырём. Под базиликой. Мы нашли ход. Вниз. И там — дверь. Белая. Из того же металла. Огромная. Мы не могли её открыть. Мы ничего не могли с ней сделать — ни сверлом, ни взрывом. А потом пришли русские. Мы ушли. Я успел взять это. Это было на полу. У двери. Как будто кто-то давно отломил и бросил.

Он замолчал.

— Мне сказали — в Ватикане это купят, — сказал он. — Мне сказали — у вас есть такие. Мне сказали — у вас есть шкаф.

Отец Игнацио очень медленно сел на второй стул.

* * *

Шкаф.

Он не знал, кто мог сказать про шкаф. В архиве про него знали трое. Отец Луиджи, полуслепой. Префект — его отец Игнацио видел два раза в жизни. И он сам, отец Игнацио Ферро, двадцати семи лет, сын сапожника из Витербо, которого два года назад привели к деревянной двери под двором Пинии и сказали: «Смотри. Запоминай. Молчи».

Значит, есть четвёртый. Кто-то, кто говорил с этим человеком на севере. Кто-то, кто помогал. Кто-то, кто знал.

Он подумал об этом — и отложил. Потом. Этим он займётся потом.

— Сколько вы хотите? — спросил он.

— Двести тысяч лир. И паспорт.

— У меня нет двухсот тысяч лир. У меня есть восемьсот лир и трамвайный билет.

Штерн смотрел на него.

— Тогда зачем вы пришли?

Отец Игнацио помолчал.

— Чтобы посмотреть, — сказал он. — Меня послали посмотреть. Я посмотрел.

— И?

— И я не знаю, доктор Штерн, — сказал отец Игнацио. Честно. — Я не знаю, что это. Никто не знает. В том шкафу, про который вам сказали, такие вещи лежат пятьсот лет. Никто их не прочитал. — Пауза. — Но я знаю, что это не продаётся. Ни за двести тысяч. Ни за двести миллионов. Это не ваше. И не моё.

— А чьё?

Отец Игнацио смотрел на пластину. На знаки. На неровный отломанный край.

— Не знаю, — сказал он. — Может быть, ничьё. Может быть, ещё ничьё.

* * *

В коридоре заскрипела половица.

Штерн дёрнулся. Как дёргается зверь. Рука его ушла под пиджак — и замерла. Отец Игнацио не видел, что там. Он догадывался.

Шаги. Лёгкие. Быстрые. Кто-то пробежал по коридору к лестнице. Хлопнула дверь. Внизу — голоса. По-английски. Мужские. Громкие.

Штерн побелел.

— Англичане, — сказал он. Шёпотом. — Военная полиция. Они ищут. Каждую неделю. Им кто-то сказал. — Он посмотрел на отца Игнацио. — Вы?

— Нет.

— Вы.

— Нет, — сказал отец Игнацио. — Я не знал, кто вы, пока вы не сказали. Я и сейчас не знаю. Я не судья, доктор Штерн. Я архивист.

Голоса внизу. Стук. Голос привратника — брата Анджело, старого, глуховатого, — что-то объяснял, медленно, громко, как объясняют глухим, хотя глухим был он сам.

Штерн встал. Подошёл к окну. Посмотрел вниз, во двор. Отец Игнацио знал этот двор: глухой, колодец, с одной стороны — стена соседнего дома, с другой — крыша прачечной. По крыше прачечной можно было уйти на виа Панисперна. Штерн это знал тоже. Он посмотрел на крышу. Потом — на пластину на столе.

С пластиной по мокрой черепице не уйдёшь. Нужны две руки.

— Возьмите, — сказал он.

Отец Игнацио не пошевелился.

— Возьмите, — повторил Штерн. Быстро. Зло. — Не продаю. Отдаю. На время. Под расписку. Я вернусь. Я вернусь за ней, слышите? Через год. Через десять. Мой сын вернётся. Мой внук. Штерны возвращаются.

Внизу — шаги по лестнице. Тяжёлые. Не брата Анджело.

Отец Игнацио вынул из кармана сутаны блокнот. Карандаш. Маленький, огрызок, с изжёванным концом — он грыз карандаши с семинарии, отец Луиджи ругал его за это. Написал. По-латыни. Быстро. Вырвал листок. Протянул.

Штерн схватил. Прочитал. Поднял глаза.

— Что это значит? «Когда будет готов»? Готов — к чему?

— Вы поймёте, — сказал отец Игнацио. — Или нет.

Шаги на втором этаже.

Штерн сунул листок во внутренний карман. Открыл окно. Перекинул ногу через подоконник. Обернулся.

— Как вас зовут?

— Ферро. Игнацио Ферро.

— Я запомню, — сказал Эрих Штерн.

И исчез в темноте.

* * *

Отец Игнацио закрыл окно. Сел. Завернул пластину в солдатское полотенце. Положил на колени.

Дверь открылась через минуту. В проёме — двое в мокрых плащах с повязками на рукавах. За ними — брат Анджело, растерянный, со свечой.

Англичане посмотрели на молодого священника, сидевшего на стуле в пустой комнате со свёртком на коленях.

— Здесь был человек, — сказал один. По-итальянски. Плохо. — Немец.

— Был, — сказал отец Игнацио.

— Куда ушёл?

Отец Игнацио смотрел на них.

Он мог сказать. Это было бы правильно. Он знал, кем был этот человек. Не по имени — по существу. Он знал, что в Крыму в сорок втором году копали не одни археологи. Он знал, что двор глухой и что по крыше прачечной можно уйти на виа Паниперна, а там — переулки, рынок, вокзал. Он мог сказать «по крыше» — и они бы успели.

Он не сказал.

Не потому, что пожалел. Он потом сорок лет пытался понять, почему, и так и не понял. Может быть, потому что у него на коленях лежала вещь, которой пятьсот лет никто не мог прочесть, и ему было не до того. Может быть, потому что ему было двадцать семь и он девять лет не видел солнца. Может быть, потому что он был архивист и привык, что решают другие.

— Не знаю, — сказал отец Игнацио Ферро. — Я молился.

* * *

Через неделю «Санта-Фе» ушёл из Генуи в Буэнос-Айрес. В судовой роли среди пассажиров третьего класса значился Эрико Штерно, коммерсант из Больцано, сорока двух лет.

Через две недели в нижнем хранилище, в деревянном шкафу, номер которого не значился ни в одном современном каталоге, появилась новая папка. На ней было написано рукой отца Игнацио Ферро: «1947. Белый металл из Корсуни. Принято на хранение».

Внутри лежала пластина в солдатском полотенце. И копия расписки.

«Принято на хранение. Вернуть предъявителю, когда он будет готов. И. Ф.»

Ниже, другими чернилами, через много лет, той же рукой, но уже старческой, неровной:

«Я ошибся. Я не судья — но я мог сказать "по крыше". Пусть тот, кто будет после меня, однажды скажет то, чего не сказал я».

* * *

Ватикан. Нижнее хранилище. 15 марта 2029 года, 02:40

Отец Себастьяно Варано, семидесяти девяти лет, иезуит, почётный скриптор Ватиканской апостольской библиотеки, последний хранитель шкафа, номера которого не было ни в одном каталоге, не спал.

Он не спал в эту ночь пятьдесят лет.

Каждый год, в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое марта, он спускался сюда. Вниз. Ниже двора Пинии, ниже бетонного хранилища, которое построили в восьмидесятом году, ниже некрополя, где под собором лежали в своих кирпичных домах римляне второго века. В старую цистерну, которую никто, кроме него, уже не помнил. К двери.

Он спускался в ту ночь, когда в семьдесят девятом году умер его учитель. Отец Игнацио Ферро. В больнице Фатебенефрателли на острове Тиберина. Восьмидесяти девяти лет. Держа его за руку. Сказав перед смертью только одно: «Себастьяно. Не дверь. Ты. Дверь ждёт не ключ».

Пятьдесят лет отец Себастьяно не понимал, что это значит.

Пятьдесят лет он сидел ночь перед дверью. Римская кладка, тёмный туф, в кладку вмурован железный круг с вертикальной чертой. Пятьдесят лет он клал на неё ладонь. Пятьдесят лет она молчала.

А в нише рядом с дверью, на деревянной подставке, лежала пластина.

Тёмная. Тусклая. Как старое зеркало, в которое тысячу лет никто не смотрелся. Овальная. С ладонь величиной. На ободке — знаки, которых отец Себастьяно не мог прочесть: не греческие, не латинские, не еврейские. Её привезли сюда в тринадцатом веке рыцари Тевтонского ордена из Пруссии, из земли язычников, из святилища, которое они сожгли. В двадцатом веке один бенедиктинец пятнадцать лет пытался её «включить». Потом сделал фальшивую фотографию для журнала и замолчал навсегда. Отец Себастьяно знал его. Он был тогда молод и думал, что бенедиктинец сумасшедший.

Теперь он был стар. И думал, что сумасшедшие — все, кто сюда спускался. Включая его самого.

Свеча горела в фонаре на полу. Он сидел на складном стуле, укрыв колени пледом. Перебирал чётки. Сорок четвёртый раз за ночь. Было холодно. В цистерне всегда было холодно. Восемь градусов. Круглый год.

Он закрыл глаза.

И открыл их, потому что стало светло.

* * *

Пластина светилась.

Не отражала свечу — светилась сама. Изнутри. Тёплым, жёлтым, медовым светом, как будто в ней, в тусклом металле, вдруг зажгли маленький огонь. Свет шёл от середины к краям. Ободок со знаками вспыхнул — тонкой золотой нитью.

Отец Себастьяно не мог встать. Ноги не слушались. Чётки упали на пол. Он не стал их поднимать.

На пластине проступало.

Не рисунок. Не отражение. Как будто смотришь в окно — маленькое, круглое, далёкое — и за окном что-то происходит. Сейчас. Где-то.

Свет. Жёлтый, как этот. Много света. Деревья — огромные, светящиеся, уходящие вверх. Дерево — одно, самое большое, в середине. И у корней дерева — огонь. Маленький. С кулак. В чаше.

А перед огнём — на коленях — женщина.

Молодая. Тридцать с небольшим. Тёмные волосы, мокрые, прилипшие ко лбу. Лицо — бледное, усталое, упрямое. Она стояла на коленях перед чашей, вытянув вперёд руки. Ладони сложены лодочкой. В ладонях — огонь.

Она держала огонь в руках.

И отец Себастьяно смотрел, как она медленно, очень медленно, разжимает ладони.

И огонь стекает обратно. В чашу.

* * *

Он смотрел, пока видение не погасло.

Минуту. Может быть, две. Потом свет стал тише, тише, отступил к середине пластины, сжался в точку — и исчез. Пластина снова стала тусклой. Как старое зеркало.

Но она осталась тёплой.

Отец Себастьяно Варано, семидесяти девяти лет, протянул руку и коснулся её. Впервые за пятьдесят лет она была тёплой. Как ладонь человека.

Он посмотрел на дверь.

Дверь молчала. Железный круг. Черта.

Но он понял.

Он понял то, чего не понимал пятьдесят лет. «Не дверь. Ты. Дверь ждёт не ключ». Эта женщина. Она только что сделала то, чего не сделал никто из тех, кто приходил сюда. Ни он сам. Ни отец Игнацио. Ни бенедиктинец. Ни один из префектов, ни один из хранителей за пятьсот лет.

Она держала в руках огонь — и отдала его.

Она отказалась.

Отец Себастьяно поднял с пола чётки. Встал. Ноги дрожали. Он сложил плед. Задул свечу в фонаре. Зажёг маленький электрический фонарик, который ему подарила Кьяра на прошлое Рождество. И пошёл наверх. Через цистерну. Через проход за гробницей. Через некрополь. Через бетон. Наверх.

Наверху было уже почти утро. Над куполом светлело.

Он сел за стол в своей комнате в доме на Борго Санто-Спирито. Взял лист бумаги. Хорошей, плотной, той, что берёг для писем, которые никогда не отправлял.

Он не знал, кто она. Он не знал, где она. Он не знал, как её найти.

Он знал только, что ему семьдесят девять и что у него мало времени.

Он написал одну фразу. По-латыни. Сложил лист. Положил в конверт. Не заклеил.

Конверт пролежал на столе полгода.

Глава 1. Сторож

Янтарный. 8 сентября 2029 года

«Мы оставили сторожей. Не для того, чтобы они нас ждали. Для того, чтобы им было что беречь».

Документ из Либереи. Запись Чуди. Лист двадцать второй.

Объект: я.

Андрей Сергеевич Зимин. Сорок пять лет. Рост сто семьдесят шесть. Вес шестьдесят восемь. Особые приметы: седой, шрам через левую бровь, на левой руке нет безымянного пальца и мизинца. Документов до прошлого месяца не было. Место жительства: сарай во дворе дома Эрнста Карловича Риделя, посёлок Янтарный Калининградской области, на краю карьера. Род занятий: сторож.

Вот так. Твоя мама сказала: начни с того, что умеешь. Я умею писать досье.

Я написал их, наверное, четыреста. На людей, которых должен был найти. На людей, которых должен был охранять. На людей, которых должен был… неважно. Ты прочитаешь в папиной тетради. Четыреста досье, Лёва. И ни одного — на себя.

Это первое.

* * *

Время: восьмое сентября две тысячи двадцать девятого года. Новолуние.

Место: берег под обрывом, в двух километрах к северу от карьера. Тот самый, про который писала мама. Пляж, узкий, каменистый. Обрыв — глина, песок, корни сосен, висящие в воздухе. Море.

Действие: ждём ветра.

Мы ждали его с вечера. Я и твой дед. Сидели на бревне, которое выбросило штормом ещё весной. Он курил. Я не курю — бросил, когда пришёл к Эрнсту, потому что Эрнст кашляет. Твой дед курит только здесь. Раз в месяц. Одну сигарету. Говорит, двадцать лет курил тут, на этом бревне, и если бросит — огонь обидится.

Я не знаю, шутит он или нет. Он редко шутит. Но иногда я не понимаю.

Нас двое Андреев, Лёва. Это неудобно. Эрнст зовёт его Андрюшей, как звал, когда тот был мальчишкой. Твоя бабушка Татьяна — Андреем. Твоя мама — папой. Ромас — по-литовски, я не запомнил как.

Меня Эрнст не зовёт никак. Он говорит «ты». «Ты, принеси дров». «Ты, кот опять на столе». «Ты, иди спать, третий час».

Мне нравится.

* * *

Ветер пришёл в начале второго.

С берега. С востока. Сначала — тихо, в верхушках сосен на обрыве. Потом — ниже. Потом — по воде.

Твой дед бросил окурок в песок. Затоптал.

— Пошёл, — сказал он.

Мы смотрели на воду.

На Балтике почти нет приливов. Ты узнаешь, когда будешь учить географию. Море не уходит и не приходит, как на Белом или в Нормандии. Оно стоит. Но когда сильный ветер дует с берега — долго, ровно, несколько часов, — он сгоняет воду. Отжимает её от берега, как ладонью. И у подножия обрыва, там, где обычно плещет по колено, открывается дно.

Это называется сгон.

Я считал. Минуты. Привычка. Я считаю всё — шаги, ступени, удары сердца, людей в комнате. Твоя мама считает до ста, когда ей страшно. Я считаю всегда. Мне не бывает страшно. Мне бывает — так, что надо считать.

Сорок минут.

Вода отошла на двадцать метров. На тридцать. Обнажила камни — чёрные, скользкие, в зелёной бороде водорослей. Мокрый песок. Ракушки. Медуза — прозрачная, мёртвая, как потерянная линза.

И у самого обрыва, там, где глина уходила под воду, — чёрная щель.

Лаз.

* * *

Решётку поставили в мае. Павел Сергеевич сдержал слово: железная, крашеная, на бетонном основании, с табличкой «Опасно. Обрушение. Проход запрещён». И замок.

Ключей два. Один у Павла Сергеевича — где-то в Москве, в сейфе, я не знаю где. Второй — у твоего деда. На шнурке. На шее. Рядом с крестиком.

Он отпер замок. Мы вошли.

Дальше — штольня «Анна». Ты прочитаешь у мамы. Старая, немецкая, начала прошлого века. Деревянная крепь, гнилая, в белой плесени. Вода по колено — ледяная, даже в сентябре. Потом — по пояс. Потом — уклон вниз. Потом — голубая земля. Глина цвета неба перед снегом. Влажная. Тёплая.

Чем ниже — тем теплее.

Я считал шаги. Тысяча сто сорок. Каждый раз — тысяча сто сорок, плюс-минус десять. Твой дед не считает. Он помнит дорогу ногами. Двадцать лет.

Он идёт впереди. С красным фонарём на поясе. Прихрамывает на левую ногу. Немного. На восьмисотом шаге — сильнее. Я иду сзади. Смотрю ему в спину. В рыбацкий плащ. В седой затылок.

Я знаю, что это странно, Лёва. Но я тебе скажу.

Девять лет я ходил за людьми и смотрел им в спину. Это была моя работа. Я шёл сзади, и смотрел, и ждал, когда мне скажут — что делать с этой спиной.

Теперь я хожу сзади, и мне никто ничего не скажет. Я просто иду.

Это другое. Я не умею объяснить, чем. Но это другое.

* * *

Тысяча сто сорок.

Янтарная стена.

Две половины. Щель между ними — боком, метр. Тёплый, гладкий янтарь по обе стороны. Светится изнутри.

Мы прошли.

И — лес.

Мама описала его лучше, чем я смогу. Я не буду пробовать. Я скажу только, что каждый раз, когда я сюда прихожу, — в одиннадцатый раз с апреля, — я останавливаюсь на краю. Секунд на тридцать. Не могу иначе. Ноги останавливаются сами.

Деревья. Огромные, прямые, янтарные, уходящие вверх, в темноту. Светятся. Медово, ровно, как будто где-то наверху, очень высоко, всегда стоит закат. И звук. Его нельзя описать. Мама написала — как будто ветер в верхушках. Это правда. И неправда. Это как будто лес дышит. Ровно. Медленно. Во сне.

Двадцать градусов. Твой папа тогда мерил. Двадцать и одна десятая.

Я снимаю сапоги. Каждый раз. Пол тёплый. Твой дед тоже снимает. Мы ставим их у последнего ствола. Рядом. Две пары. Его — большие, рыбацкие, резиновые. Мои — армейские. Других у меня нет.

* * *

Поляна. Дуб. Чаша.

Огонь.

Он горит низко. Перед новолунием всегда низко. Жёлтые язычки, синее основание. С кулак. Как маленький зверь, который свернулся и спит.

Твой дед подходит. Садится на корточки у чаши. Достаёт из-за пазухи мешочек — холщовый, на завязках. Смола. Её собирают в лесу за Приморском, на старых соснах, и сушат на чердаке у Эрнста. Я собираю. Это моя работа теперь — собирать смолу. Я лазаю по соснам, как мальчишка, с ножом и банкой. Эрнст говорит, что у меня рука лёгкая. Я не знаю, что это значит.

Твой дед высыпает горсть на ладонь. Протягивает к огню.

— Вот, — говорит он. Тихо. Огню. — Месяц.

Сыплет.

Огонь вспыхивает. Встаёт. Синее основание расширяется, жёлтые язычки вытягиваются, тянутся вверх. Дуб над нами — светлеет. Стволы — светлеют. Звук — меняется. Как будто тот, кто спал, глубоко вздохнул и повернулся на другой бок.

Это всё.

Это вся работа, Лёва. Горсть смолы в месяц. Двадцать лет твой дед ходил сюда один — ради этого. Ради горсти.

Я спросил его однажды, в июле: а если не принести? Если однажды не прийти?

Он долго молчал. Потом сказал:

— Пятрас не пришёл однажды. В восьмом году. Он лежал внизу, мёртвый, а огонь лёг ему на ладони и ждал. Два дня. — Пауза. — Огонь не гаснет сразу, Андрей. Он ждёт. Он долго ждёт. Но не вечно.

— Сколько?

— Я не знаю, — сказал он. — Я не проверял. И ты не проверяй.

* * *

Потом мы сидим.

Это не обязательно. Можно высыпать смолу и уйти. Сгон держится часа четыре, обратная дорога — час. Время есть. Но мы сидим. Каждый раз. У корней дуба, на тёплом полу, босиком. Спиной к коре.

Не разговариваем.

Твой дед сидит, закрыв глаза. Я не знаю, спит он или думает. Я — смотрю на ствол.

На пластинки.

Их там тысячи. Ты прочитаешь у мамы. Маленькие, янтарные, как чешуя. На каждой — картина. Кто-то, кто однажды сказал «нет». Прусский жрец, отказавшийся от железа. Женщина, не отдавшая сына. Рыбак. Солдат. Старик в чёрном пальто — нет, его нет; у Брандта смола остановилась на полпути. Капля в желобке. Застывшая. Я смотрю на неё каждый раз. Она не двигается. Твой дед говорит — может, и не сдвинется никогда. Может — однажды. Огонь долго ждёт.

А чуть выше, на уровне моих глаз, если сидеть, — пластинка твоей мамы. Две черты. Её «нет», сказанное огню.

А рядом с ней, левее, на ладонь, — три.

Мои.

* * *

Я не буду пока писать, что на них.

Я напишу потом. В третьей главе. Мне нужно время, Лёва. Я никому их не показывал. Даже твоему деду. Он их видел, конечно, — он был рядом, когда они поднялись, в апреле. Но он не смотрел. Он сказал: «Это твоё. Захочешь — покажешь». И отвернулся.

Он такой. Твой дед. Он отворачивается, когда надо. Я этому у него учусь. Я девять лет учился смотреть. Теперь учусь не смотреть.

Это труднее.

* * *

В этот раз было по-другому.

Я сидел, как всегда. Смотрел на ствол. На мамину пластинку. На свои три — левее. Они были, как всегда, тёмные. Тусклые. Янтарь, в котором ничего не видно, пока не посветишь.

А потом средняя — потеплела.

Я не сразу понял. Я сидел в метре. Я почувствовал — щекой. Как будто кто-то поднёс к лицу ладонь. Тепло. Слабое. Ровное.

Я повернул голову.

Средняя пластинка светилась.

Не ярко. Едва. Изнутри. Медовым светом — таким, как весь лес вокруг, только чуть теплее. Чуть желтее. Как будто кто-то дышал на неё с той стороны.

Я смотрел.

Я считал.

Сорок секунд. Пятьдесят. Минута.

Потом свет ушёл. Медленно. Как уходит румянец со щёк.

Пластинка снова стала тусклой.

* * *

— Андрей Викторович, — сказал я.

Он открыл глаза.

— Пластинки, — сказал я. — Они светятся? Сами? Когда никто не смотрит?

Он посмотрел на ствол. На мои три. Потом — на меня.

— Нет, — сказал он. — Никогда. Двадцать лет. Ни разу. Они светятся, только когда подносишь красный свет. Или когда огонь поднимается. Все сразу. — Пауза. — А что?

Я молчал.

— Какая? — спросил он.

— Средняя.

Он долго смотрел на меня.

Потом сказал то, что я потом вспоминал всю дорогу наверх, все тысячу сто сорок шагов, весь путь по воде под обрывом, весь путь вверх по тропе, мимо сосен, в серый рассвет:

— Значит, тебя кто-то зовёт.

— Кто?

— Не знаю, — сказал твой дед. — Тот, кто на ней. Ты ведь знаешь, кто на ней. Я не знаю. — Он встал. Охнул — колено. Взял сапоги. — Пошли. Вода вернётся.

* * *

Мы вышли в половине шестого.

Вода уже шла назад. Медленно, ровно, по камням, по водорослям, по мёртвой медузе. Мы шли по щиколотку, потом по колено. Ветер стих. Над морем на западе стояла чёрная ночь, на востоке, над обрывом, — серая полоса.

Твой дед запер решётку.

Повесил ключ на шею. Рядом с крестиком.

Потом сел на бревно. Достал сигарету. Посмотрел на неё. Спрятал обратно.

— Одну в месяц, — сказал он. — Уже выкурил.

— Да.

Он смотрел на море.

— Андрей, — сказал он. — Ты когда-нибудь расскажешь, что на них?

— Да, — сказал я. — Лёве.

Он кивнул. Как будто так и надо. Как будто это само собой.
— Хорошо, — сказал он. — Ему — правильно.
* * *
Вот, Лёва.
Это было восьмого сентября.
А девятнадцатого пришёл конверт.

Глава 2. Конверт

Янтарный. 19 сентября 2029 года

«Кто пишет тому, кого не знает, — пишет себе. Кто пишет тому, кого ждал, — пишет правду».

Документ из Либереи. Запись Шамбалы. Лист девятый, поля.

Почту в Янтарном приносит Люба.

Ей шестьдесят три. У неё велосипед с корзиной, синяя куртка с эмблемой и больные колени. Она приезжает к Эрнсту по четвергам — пенсия, газета «Янтарный край», иногда письмо от Руты из Юодкранте. Эрнст выходит к калитке. Они говорят о погоде, о давлении, о коте. Кот выходит тоже. Люба даёт ему кусочек колбасы из кармана. Это ритуал. Я в нём не участвую. Я смотрю из сарая.

Девятнадцатого Люба приехала в среду.

Это было первое.

Второе — она не стала звонить в калитку. Она прислонила велосипед к забору и пошла не к дому, а к сараю. Ко мне. По мокрой траве. Хромая.

Я вышел ей навстречу.

— Тебе, — сказала она. И протянула конверт. — Заказное. Из Швейцарии. Расписаться надо.

Я расписался. Первый раз в жизни я расписался за письмо, Лёва. На своё имя. Я не знал, как расписываться. Я написал «Зимин». Печатными буквами. Люба посмотрела, хмыкнула и ничего не сказала.

— Я в среду не езжу, — сказала она. — Но тут написано — срочно. Я подумала — может, от родни.

— У меня нет родни.

Она посмотрела на меня.

— У всех есть, — сказала Люба. — Просто не все знают.

И поехала обратно.

* * *

Конверт был большой. Плотный. Белый. С красной наклейкой «Recommandé». Обратный адрес — Цюрих, Цюрихберг. Фамилия — Келлер.

Я узнал почерк. Ирэна писала адрес мне второй раз. Первый — в мае, когда прислала письмо для Виктора. То письмо я отвёз в Севастополь. Положил. Ты прочитаешь у мамы, она не написала, куда. Я тоже не напишу.

Я не стал вскрывать на улице.

Я вошёл в сарай. Закрыл дверь. Задвинул щеколду. Положил конверт на стол. Под лампу.

И посмотрел на него.

Ты спросишь, зачем. Это просто конверт. Его можно открыть.

Девять лет, Лёва, я получал конверты, которые нельзя было просто открыть. В которых была пыль. Или порошок. Или маленькая плоская штучка размером с ноготь, которая слушала. Или ничего не было, а сам конверт был пропитан чем-то, что через три дня давало кашель. Я сам такие отправлял. Не порошок. Штучки. Ты прочитаешь у папы, в главе про Хапиловку.

Я смотрел на конверт пять минут.

Вес — граммов семьдесят. Края ровные. Клей — фабричный. Не переклеивали. Швейцарская почта, штамп от семнадцатого. Два дня. Быстро.

Ничего.

Я открыл.

* * *

Внутри было два листа и второй конверт.

Листы — Ирэнины. Её бумага, её ручка, её почерк. По-русски. Она пишет по-русски хорошо, книжно, с ошибками в падежах, которые я не буду исправлять.

Я перепишу тебе.

«Андрей.

Это пришло в мою контору в Женеве четырнадцатого. Не по почте. Принёс курьер. Молодая женщина, итальянка, вежливая. Она сказала, что не знает, что внутри. Она сказала, что ей поручили отдать лично мне и что отправитель прочитал моё заявление в апреле и решил, что я единственный человек, который может передать это по адресу. Больше она ничего не сказала. Расписки не взяла. Ушла.

Я не открывала внутренний конверт. Он не заклеен, но я не открывала.

На нём написан адрес. Посмотрите сами.

Я не знаю, кто это. Я не знаю, откуда он знает. Этого не знает никто, кроме нас — кроме тех, кто был внизу. Я никому не говорила. Я проверила свою контору, свою квартиру, свой телефон. Всё чисто. Я проверила дважды.

Я отправляю вам, потому что вы знаете, где она. А я — нет. И не хочу знать.

Если это опасно — сожгите.

Если нет — передайте.

Ирэна.

P. S. Курьер говорила по-итальянски с римским выговором. Я двадцать лет работала с римскими клиентами. Я не ошибаюсь».

* * *

Я положил листы на стол.

Взял второй конверт.

Маленький. Узкий. Кремовый. Плотная бумага — не офисная. Шершавая, с волокнами. Ручной отлив. Такую делают в Фабриано, в Италии, восемьсот лет. Я знаю, потому что Штерн на ней писал. Только на ней. Он говорил — бумага должна помнить руку.

Не заклеен. Клапан просто заправлен внутрь.

Адрес — от руки. Чернилами. Не шариковой ручкой — пером. Чернила — коричневые. Выцветшие в коричневый. Старые, железо-галловые. Такими писали в Средние века. Такими сейчас не пишет никто.

Почти никто.

Почерк — мелкий. Наклонный. Дрожащий. Старый человек. Очень старый. Буквы ровные, как по линейке, а линии — дрожат.

Три строки.

«Dominae Sophiae Lanskaiae,

quae recusavit.

Per manus amicorum».

Я не читаю по-латыни, Лёва.

Но первые два слова я понял. Госпоже Софье Ланской.

А «recusavit» я знал. Я знал это слово, потому что в «Кербере» мы проверяли контракты на английском, и там есть слово «recuse». Отвести себя. Отказаться участвовать.

Той, которая отказалась.

* * *

Я сидел и смотрел на конверт.

Долго. Я не считал. Впервые за много лет я сидел и не считал.

Про то, что твоя мама отказалась, знали восемь человек. Твоя мама. Твой папа. Твой дед. Ирэна. Я. Фосс — он был внизу, видел. Брандт — он мёртв. И люди Брандта — шестеро —

которые стояли на краю поляны. Их увезли в Калининград. Потом — в Германию. Потом — не знаю. Павел Сергеевич знает.

Восемь. Плюс шестеро.

Ещё знал огонь.

Я перевернул конверт.

На обратной стороне — ничего. Только в самом углу, внизу, маленький знак. Нарисованный тем же пером. Теми же коричневыми чернилами.

Круг. И в нём — вертикальная черта.

* * *

Я встал. Отодвинул табурет. Он упал. Кот, спавший на топчане, поднял голову.

Я знал этот знак.

Его знает каждый, кто был внизу. Он есть на каждой пластинке на стволе дуба. В углу. Маленький. Как подпись. Пятьдесят тысяч раз. Сто тысяч. Я не считал — их нельзя сосчитать.

Круг — пластинка. Черта — одно «нет».

У твоей мамы — две черты. У меня — три пластинки, на каждой одна черта.

А здесь — одна.

На конверте из Рима. Нарисованная старым человеком пером, железо-галловыми чернилами, на бумаге из Фабриано.

Я поднял табурет. Сел.

Кот спрыгнул с топчана. Подошёл. Сел у моих ног. Посмотрел на меня жёлтыми глазами. Он так делает, когда я долго не двигаюсь. Проверяет, живой ли.

— Живой, — сказал я ему.

Он не поверил. Запрыгнул на колени.

* * *

Эрнст позвал меня ужинать в семь.

Я пришёл с конвертом.

За столом были все. Эрнст — во главе, в старом свитере, под лампой с бахромой. Твой дед. Твоя бабушка — она приехала в августе, ты помнишь, она теперь живёт здесь, в комнате наверху, и учит Эрнста печь пироги с капустой, а Эрнст учит её блинам, и они спорят о тесте так, что слышно в сарае. Самовар. Варенье из шишек. Картошка с укропом. Селёдка.

Я положил конверт на клеёнку. Рядом с селёдкой.

Адресом вверх.

Никто не сказал ни слова.

Твой дед взял конверт. Прочитал. Перевернул. Посмотрел на знак. Долго. Положил обратно.

Бабушка смотрела на него.

— Андрей, — сказала она. Твоему деду. — Что там?

— Соне, — сказал он. — Из Рима.

— Из Рима?

— Из Рима, — повторил он. — Священник. Старый. Пишет пером. Знает про огонь. — Он посмотрел на меня. — Знает про «нет».

Эрнст протянул руку. Твой дед отдал ему конверт. Эрнст поднёс его к глазам. Близко. Без очков — очки он не носит принципиально, говорит, что резчику очки только мешают. Посмотрел на знак.

Потом закрыл глаза.

— Отец рассказывал, — сказал он. По-немецки. Потом поправился, по-русски: — Отец рассказывал. Давно. Мне было восемь. Что знак вырезан не только на дубе. Что однажды, давно, рыцари увезли из Ромове одну вещь. Ещё когда жгли. Тевтонцы. Увезли на юг. К папе.

— Он открыл глаза. — Он говорил: «Если когда-нибудь знак придёт с юга — значит, вещь проснулась».

— Какую вещь? — спросила бабушка.

— Не знаю, — сказал Эрнст. — Отец не знал. Дед не знал. Знали только, что увезли. И что её нельзя было увозить. И что она не наша и не их. — Пауза. — Как огонь.

* * *

Мы сидели молча.

Самовар пыхтел.

Твоя бабушка налила всем чаю. Положила варенья. Мне — больше всех. Она всегда кладёт мне больше всех. Я не понимаю почему.

— Надо Соне отвезти, — сказала она.

— Сфотографировать и переслать, — сказал твой дед. — Через Жору. Через канал.

— Нет, — сказал я.

Они посмотрели на меня.

— Нельзя фотографировать, — сказал я. — Нельзя пересылать. Канал хороший, Жора хороший. Но канал — это цифры. Цифры можно прочитать. Если кто-то ждёт, что это письмо поедет к ней, — он будет ждать именно цифр. Он будет смотреть в канал, а не на почту. — Пауза. — Бумагу никто не ждёт. Бумагу надо везти руками.

— Ты повезёшь? — спросил твой дед.

— Я.

— У тебя нет паспорта.

— Будет, — сказал я.

* * *

Он смотрел на меня.

Я не сказал тебе, Лёва. У меня были паспорта. Много. Семь или восемь. Разных стран. Разные имена. Шенгенская виза в каждом. Штерн делал хорошие паспорта. Последний — на имя Алексея Тихонова, гражданина Латвии. Я сжёг их все. В Балаклаве. В печке у Елены Феодоровны. В феврале двадцать седьмого. Она смотрела, как я жгу, и ничего не говорила. Только когда сгорел последний, сказала: «Теперь ты голый. Как родился».

С тех пор у меня не было никакого. Я ходил пешком. Ездил на автобусах, где не спрашивают. Один раз, в мае, летал в Севастополь — ты не спрашивай как. Я не скажу. Это был последний раз, когда я сделал что-то по-старому.

Твой дед знал. Он кивнул.

— Павел Сергеевич, — сказал он.

— Павел Сергеевич, — сказал я.

— Он попросит что-нибудь взамен.

— Пусть.

Твой дед помолчал.

— Андрей, — сказал он. — На какое имя?

Я смотрел на конверт. На клеёнке. Рядом с селёдкой.

«Той, которая отказалась».

— На своё, — сказал я.

* * *

Ночью я не спал.

Я не сплю почти. С тех пор как Холод. Ты прочитаешь у мамы. Три-четыре часа — уже много. Остальное я хожу. По берегу. По лесу. По карьеру. Или сижу в сарае с лампой.

В ту ночь я сидел.

Конверт лежал на столе. Я его не трогал.

Я думал о том, кто его написал. Старый. Пишет пером. Живёт в Риме. Ждёт. «Per manus amicorum» — это я потом спросил у твоей мамы, это значит «через руки друзей». Он не знал, где она. Он не знал, кто её друзья. Он знал только одно имя — Ирэна. Из газет. Из заявления в Женеве. И решил: она передаст.

Он поставил на то, что люди передадут. Что письмо пройдёт через руки — и дойдёт.

Штерн никогда бы так не сделал. Я никогда бы так не сделал. Девять лет мы делали всё, чтобы ничего не зависело от чужих рук.

А этот старик в Риме — поставил на чужие руки.

И письмо дошло.

* * *

Под утро я встал.

Подошёл к полке. На полке — книги. Десять штук. Я их перечитываю. Елена Феодоровна дала мне три, Ветлугин — четыре, три я купил сам. Одна — «Записки охотника». Одна — Лесков. Одна — про Херсонес, старая, советская. И Евангелие. Елена дала. Сказала — не читай, если не хочешь. Просто держи. Я держу.

За книгами, у стены, — свёрток.

Холщовый. Перевязанный бечёвкой. Небольшой. Плоский.

Я взял его. Положил на стол. Рядом с конвертом.

Развязал.

Ты спросишь — что это. Я скажу.

Это не пластинки. Пластинки на дубе, внизу, они не снимаются, они часть ствола. Это — то, что я сделал в апреле. Когда они поднялись. Я тогда не стал смотреть. Я сидел у дуба и не смотрел. А потом, когда твой дед ушёл к Брандту — проверять, к телу, — я достал из кармана красный фонарь. Посветил. На каждую. По одной. И перерисовал. Карандашом. На три листа из блокнота.

Я не умею рисовать. Я умею делать схемы. Это — схемы.

Три листа.

Я развернул их.

Первый лист я знал наизусть.

Второй лист я не понимал полгода.

Третий лист я не разворачивал ни разу. Он сложен вчетверо. С тех пор как я его нарисовал — я его не открывал. Я нарисовал, не глядя на то, что рисую. Глядя только на линии. Сложил. И убрал.

Я положил второй лист рядом с конвертом.

И понял.

Глава 3. Три пластинки

Янтарный — Калининград. 20–29 сентября 2029 года

«Каждый носит три лица: то, что было, то, что есть, и то, которого он боится. Огонь видит все три».

Янтарная запись. Ромове. Перевод Софьи Ланской.

Я обещал тебе в первой главе, что расскажу.

Рассказываю.

* * *

Это было четырнадцатого апреля. Первое новолуние после того, как увезли Брандта.

Мы спустились втроём. Твой дед, Павел Сергеевич и я. Павел Сергеевич хотел увидеть ещё раз — сказал, что для отчёта, но я видел его лицо, когда мы вышли в лес. Это было не для отчёта.

Твой дед высыпал смолу. Огонь поднялся. Мы постояли.

Потом твой дед сказал мне:

— Положи руку на ствол.

Я не понял.

— Зачем?

— Затем, что ты теперь здесь будешь ходить, — сказал он. — Раз в месяц. Может быть — один. Может быть — когда меня не будет. Огонь должен тебя знать. — Пауза. — Положи.

Я подошёл к дубу. Он огромный, Лёва. Ты увидишь. Кора — не кора, янтарь, тёплый, гладкий, весь в пластинках, как в чешуе. Я поднял руку. Правую. Левую я не люблю никому показывать.

Положил.

Тепло. Ровное. Как спина большого животного.

Ничего не было. Секунду. Две. Десять.

А потом твой дед сказал: «Смотри». Тихо. Я посмотрел вниз. На чашу. На желобок, который идёт от чаши к корню. Смола в желобке текла.

Медленно. Густо. Тёмно-медовой струйкой. От чаши — к корню. По корню — вверх, к стволу. Я смотрел, как она течёт. Я не дышал.

Она дошла до ствола под моей ладонью. Чуть левее. И остановилась.

И из неё — выросли три.

Одна за другой. Как пузырьки на воде. Одна. Вторая — поверх первой, чуть выше. Третья — поверх второй.

Твой дед сказал потом: «Я ждал одну. А их было сразу три». Он не удивился. Он сказал — так бывает, если человек долго не говорил. Если накопилось.

* * *

Я перерисовал их. Я говорил. Карандашом, при красном свете. Схемами.

Вот они.

* * *

Первая.

Каменный зал. Высокий. Колонны. В середине — одна колонна, толще других, белая. Платина. Я знаю её. Я вложил в неё ключ. Сорок девятый лист Ивана. Третьего января двадцать седьмого года. Ты прочитаешь у папы.

У подножия колонны — человек. Сидит на полу. Скрестив ноги. Как мальчик. Седой затылок. На плечах — куртка. Тёмная, неприметная. Моя.

Иней. На полу. На полах пальто. На куртке. На волосах.

А перед ним — женщина. На пластине. У башни. С ладонью на грани. Ана-Тиу. Ты прочитаешь.

Это — Херсонес. Это — Штерн. Это — то, что было.

Это я понял сразу. Я ведь сам там был. Я сам снял куртку.

Я не знаю, Лёва, почему огонь записал это как «нет». Я не сказал Штерну «нет». Я сказал ему: «Вставайте». Он не встал. Я ушёл.

Может быть — «нет» было в куртке. Я не знаю. Твоя мама говорит — может быть, «нет» было в том, что я ушёл. Что я девять лет шёл за ним — а тогда не пошёл. Я ушёл, когда он сказал «идите». Это было первый раз, когда я сделал то, что он сказал, — и это было «нет».

Я не понимаю. Но записываю.

* * *

Вторая.

Комната. Каменная. Низкий свод. Стены — не из блоков, как в Херсонесе, а из мелкого камня, неровного, тёмного. Кладка. Старая. В углу — вода. Блестит.

У стены — подставка. Деревянная. Как пюпитр. На ней — что-то овальное. Плоское. Тёмное.

А посредине стены — дверь.

Не деревянная. Каменная. Или вся стена — дверь. Я не понял. В ней — круг. Большой. С вертикальной чертой. Тот же знак, что на пластинках. Только огромный. В человеческий рост.

Перед дверью — человек.

На коленях. Спиной ко мне. Старый — по спине видно, по тому, как она согнута. В длинной одежде. Тёмной. До пола. Рука поднята. Ладонь лежит на круге. На черте.

Голова опущена.

Я полгода смотрел на этот рисунок. Я не понимал. Я не знал этой комнаты. Я не знал этого человека. Я не был там. Как огонь мог записать, что я сказал «нет», если меня там не было?

Я думал — ошибка. Огонь тоже ошибается. Твой дед говорит — нет. Огонь не ошибается. Но может видеть то, чего ещё не было.

«То, которого он боится».

* * *

Двадцатого утром я положил этот рисунок рядом с конвертом.

Круг. Черта.

Тот же знак. На конверте — маленький, в углу. На рисунке — в человеческий рост, на каменной двери.

Старик пишет пером. Старик на коленях перед дверью.

Длинная тёмная одежда до пола. Как у священника.

Из Рима.

Я сидел и смотрел на них. Минут сорок. Потом пошёл в дом. Эрнст пил кофе на кухне. Я сказал:

— Эрнст Карлович. Мне надо уехать.

Он посмотрел на меня.

— Надолго?

— Не знаю.

— Кот будет скучать, — сказал Эрнст.

— Я знаю.

— А я — нет, — сказал Эрнст. — Я старый. Мне некогда скучать. — Он поставил чашку. — Иди. Только вернись. Смолу кто собирать будет? Андрюша на сосну уже не полезет. У него колено.

* * *

Третью я не разворачивал.

Я не буду её описывать сейчас. Не потому, что не хочу. Потому что я не знаю, что на ней. Я положил её во внутренний карман. Сложенную вчетверо. Она там до сих пор, пока я пишу эту главу.

Я разверну её в конце. Обещаю.

* * *

Павел Сергеевич ответил на звонок через четыре гудка.

У меня был его номер. Он дал его в апреле. Сказал: «Если что-то случится внизу — звоните. В любое время. Это не служебный».

— Андрей, — сказал он. Узнал по голосу. Он всех узнаёт по голосу.

— Павел Сергеевич. Мне нужен паспорт.

Тишина. Короткая.

— На чьё имя? — спросил он.

Я понимал, о чём он. Он знал, кем я был. Он читал моё дело. Не то, что в «Кербере» — то, что в его конторе. Толстое, наверное. С фотографиями. С моими семью или восемью именами.

— На моё, — сказал я.

Тишина. Длиннее.

— Ваше — это какое? — спросил он.

Я не сразу ответил.

— Зимин, — сказал я. — Андрей Сергеевич. Тысяча девятьсот восемьдесят четвёртого. Вологда.

— Вы уверены в годе?

— Нет, — сказал я. — Мне сказали — около трёх. Когда нашли. Записали — восемьдесят четвёртый.

— А день?

— Девятое декабря.

— Почему девятое?

— День, когда нашли, — сказал я.

* * *

Он молчал. Я слышал, как он дышит. Ровно. Как человек, который сорок лет слушает чужие голоса и научился не торопиться.

— Андрей, — сказал он. — У вас никогда не было паспорта на это имя?

— Нет. Был военный билет. Его давно нет.

— Свидетельство о рождении?

— Было. В детдоме. Номер два, город Вологда. Его, наверное, тоже нет.

— Детдома?

— Свидетельства. Детдом есть. Я проверял. Он теперь называется «центр помощи детям». Там новая директор. Молодая.

— Вы ездили?

— Нет, — сказал я. — Я смотрел. По спутнику.

Он помолчал.

— Хорошо, — сказал Павел Сергеевич. — Дайте мне неделю.

— Павел Сергеевич. Мне ещё виза нужна.

— Куда?

— В Норвегию. Потом — в Италию.

— В Италию, — повторил он. Без вопроса.

— В Рим.

Опять тишина.

Потом он сказал:

— Андрей. Я не спрашиваю зачем. Я знаю, что если бы это было что-то, о чём мне нужно знать, вы бы сказали. — Пауза. — Но взамен я вас попрошу об одном.

— Да.

— Когда вернётесь — расскажите мне. Мне. Не в контору. Не на бумаге. Мне. За чаем. — Он помолчал. — Я положил руку на дерево, Андрей. Вы видели. Мне теперь тоже нужно знать.

— Расскажу.

— Тогда неделя, — сказал он. И отключился.

* * *

Через пять дней мне позвонили из отдела по вопросам миграции. Улица Кирова, Калининград. Девушка. Вежливая. Сказала: «Андрей Сергеевич? Вам нужно подойти. Фотографироваться. С двумя документами и… — она запнулась, — и с вами».

Я приехал на автобусе.

Окно номер шесть. Девушка — та самая, по голосу. Лет двадцать пять. Хвостик. Маникюр с блёстками. На бейджике — Ксения.

Она смотрела в компьютер. Долго. Потом — на меня. Потом — опять в компьютер.

— Андрей Сергеевич, — сказала она. — Вы… раньше паспорт получали?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

Она посмотрела на мои волосы. На шрам. На левую руку, которую я держал на стойке.

— Вам сорок пять лет, — сказала она.

— Да.

— И вы никогда…

— Ксения, — сказал я. — Это долгая история.

Она смотрела на меня. Потом — я видел — что-то решила. Не спрашивать. Хорошая девушка. Она улыбнулась. Профессионально. Но по-доброму.

— Тогда давайте фотографироваться, — сказала она. — Встаньте к стенке. Не улыбайтесь.

Я не улыбался.

Это не было трудно.

* * *

Там была анкета. Я заполнял её двадцать минут. Ручкой на верёвочке.

Фамилия: Зимин.

Имя: Андрей.

Отчество: Сергеевич.

Дата рождения: 09.12.1984.

Место рождения: г. Вологда.

Я не знаю, что я родился в Вологде, Лёва. Я знаю, что меня нашли в Вологде. На вокзале. В зале ожидания. Под скамейкой. Зимой. В пальто, которое было мне велико, в шапке, завязанной под подбородком, и в одном валенке. Второй валенок потерялся. Его так и не нашли.

Мне было около трёх. Я ничего не говорил. Ни имени, ни фамилии. Нянечка, которая меня взяла, — Зоя Ивановна, она умерла в девяносто восьмом — сказала: «Нашли зимой. Пусть будет Зимин». Директор детдома был Сергей Петрович. Отчество дали по нему. Всем найдёнышам тогда давали отчество по директору. У нас было одиннадцать Сергеевичей.

А имя я сказал сам.

Это единственное, что я сказал. Нянечка спросила: «Как тебя зовут?» И я сказал: «Андрюша». Зоя Ивановна потом рассказывала. Я больше ничего не сказал. Три недели. Потом заговорил. Нормально. Как все.

Андрюша.

Значит, кто-то меня так звал.

* * *

Я помню вокзал.

Немного. Пятна. Свет — жёлтый, лампы под потолком. Холод от двери. Запах — мокрая шерсть, махорка, хлорка. Голос диктора. Шаги. Много шагов.

И зелёный цвет.

Больше ничего. Больше я тебе пока не скажу.

* * *

Дальше в анкете было: «Сведения о родителях».

Мать.

Отец.

Две строчки. Пустые.

Я сидел над ними и не знал, что писать.

Ксения подошла. Посмотрела через плечо.

— Если не знаете — так и пишите, — сказала она. Тихо. — «Сведений нет». Это можно. Я видела.

— Часто?

— Нет, — сказала она. — Редко. Но бывает.

Я написал.

«Сведений нет».

Два раза.

* * *

Паспорт мне выдали двадцать девятого.

Красный. С орлом. Пахнет типографией. Внутри — моя фотография. Седой человек со шрамом. Бесцветные глаза. Не улыбается.

Андрей Сергеевич Зимин.

Я стоял на крыльце, на улице Кирова, и держал его в руках. Шёл дождь. Мелкий, калининградский, косой. Я не прятал паспорт. Я держал его открытым. На странице с фотографией. Капли падали на плёнку и скатывались.

Мимо шли люди. Никто на меня не смотрел. На меня никогда никто не смотрит.

А я стоял и смотрел на него.

Сорок пять лет.

Внутри, во второй вкладке, — виза. Шенгенская. Норвежская. На три месяца. Многократная. Её дали за четыре дня. Так не бывает. Павел Сергеевич сказал: «Бывает». И больше ничего не сказал.

Я положил паспорт во внутренний карман.

Рядом с третьим листом. Сложенным вчетверо.

И поехал на остров.

Глава 4. Остров

Остров с маяком. 2–3 октября 2029 года

«Свет маяка не для того, чтобы на него смотреть. Он для того, чтобы по нему считать».

Олаф, смотритель маяка. Записано Софьей Ланской с его слов.

До острова я добирался три дня.

Калининград — Москва. Москва — Стамбул. Стамбул — Осло. Осло — Будё. Будё — лодка.

Четыре самолёта. Четыре паспортных контроля. На каждом я протягивал красную книжечку с орлом, и на каждом человек в стеклянной будке смотрел на неё, потом на меня, потом опять на неё, ставил штамп и отдавал. Никто ничего не спросил.

Девять лет я проходил такие будки по чужим паспортам. И каждый раз считал. Сколько секунд он смотрит. Куда смотрит. Что у него под стойкой. Где камера.

Теперь я не считал.

То есть считал. Привычка. Но не так.

В Стамбуле, в транзитной зоне, я сел у окна и смотрел на самолёты. Четыре часа. Я ни разу в жизни не сидел в аэропорту просто так. Я всегда кого-то ждал или за кем-то шёл. А тут — сидел. Пил чай из картонного стакана. Смотрел, как садятся самолёты.

Женщина рядом, турчанка, с ребёнком, попросила последить за сумкой, пока она сходит в туалет. Я последил. Она вернулась, поблагодарила, дала ребёнку печенье, а ребёнок отломил половину и протянул мне.

Я взял.

Это было хорошее печенье.

* * *

В Будё меня встретил Эйвинд.

Ты его знаешь. Он возит почту на остров, продукты, иногда людей. Большой, рыжий, бородатый. Ты при нём плакал, говорила мама. Теперь не плачешь. Теперь дёргаешь его за бороду и требуешь «ещё лодку».

Он стоял на причале у своей лодки. Смотрел, как я иду.

— Андрей? — спросил он. По-английски.

— Да.

— Соня сказала — седой, шрам, не улыбается. — Он оглядел меня. — Точно.

Он протянул руку. Я пожал. Правой.

— Садись, — сказал Эйвинд. — Два часа. Ветер хороший. Если укачает — за борт, не на палубу.

Меня не укачало.

Я сидел на корме и смотрел на воду. Серая. Тяжёлая. С белыми гребешками. Над ней — небо, такое же серое. Острова — чёрные, голые, скалистые, без деревьев. Чайки.

А потом, через полтора часа, на горизонте — белая точка.

Башня. С красной полосой.

Я никогда её не видел, Лёва. Я видел на фотографии. Той, которую я сделал в двадцать седьмом году. Издалека. С соседнего острова. В бинокль. Когда искал, где вы. Я нашёл. Я сфотографировал. Отдал фотографию твоему деду — тому, который тогда был мёртвым. Он носил её два года в нагрудном кармане.

Я никогда не подходил ближе.

Теперь подходил.

* * *

Маяк мигнул.

Был день. Пасмурный, серый, но день. Маяк днём не горит. А он — мигнул.

Я сначала подумал — показалось. Потом увидел: на площадке, наверху, у стекла, — фигура. Человек. Машет. Белым. Платком.

— Олаф, — сказал Эйвинд. — Он всегда так. Когда кто-то едет. Включает на одну вспышку. Говорит — чтобы знали, что ждут.

* * *

На причале стоял твой папа.

Один. В той самой куртке, в которой лазил в Ромове. Руки в карманах. Смотрел, как подходит лодка.

Я не знал, как он меня встретит. Последний раз мы виделись в марте. В больнице в Светлогорске. Он сказал мне тогда «спасибо». Один раз. Коротко. Я сказал «не за что». Это была правда.

А до того — до марта — было всё остальное. Ты прочитаешь. Хапиловка. Ферапонтово. Колокольня. Он гонялся от меня по всей стране. Я гонялся за ним. Однажды я стоял в двух метрах от него, за дверью, в темноте, и он не знал, что я там. А я знал, что он там. И у меня был приказ.

Я его не выполнил. Это было потом. Но приказ — был.

Лодка ткнулась в причал. Эйвинд бросил ему конец. Твой папа поймал. Намотал на кнехт. Не глядя. Он многое умеет делать, не глядя.

Я вышел на причал.

Мы стояли и смотрели друг на друга.

— Андрей, — сказал твой папа.

— Максим Андреевич.

Он поморщился.

— Хватит, — сказал он. — Какой я тебе Андреевич. Ты в Ромове меня за шиворот из щели тащил. — Пауза. — Максим.

— Максим, — сказал я.

Он протянул руку.

Я протянул правую.

Он взял левую.

Мою левую. С двумя пальцами, которых нет. Взял и пожал. Крепко. Как будто их было пять.

Я ничего не сказал. Я не смог.

— Пошли, — сказал твой папа. — Соня ждёт. И Лев Максимович. Он тебя помнит. Он со вчерашнего дня спрашивает «Дей где».

* * *

Дом смотрителя стоит на скале над причалом. Белый, деревянный, с красной крышей. Рядом — маяк. Сто сорок шесть ступенек. Мама писала. Я поднимусь потом.

Твоя мама стояла на крыльце.

Ты — у неё на руках.

В синем комбинезоне. В шапке с помпоном. Два года и полтора месяца. Тяжёлый уже. Мама держала тебя на бедре, одной рукой, как держат все мамы, а второй придерживала дверь, потому что ветер.

Ты увидел меня.

Ты смотрел. Секунды три. Внимательно. Как будто считал.

Потом сказал:

— Дей!

И протянул руки.

Мама засмеялась. Опустила тебя на крыльцо. Ты пошёл ко мне. Быстро, переваливаясь, держась за перила. Две ступеньки вниз. Ты слезал задом, на четвереньках, сосредоточенно, сопя. Потом — по траве. Ко мне.

Я присел на корточки.

Ты дошёл. Остановился. Посмотрел мне в лицо. Вблизи. Потом поднял руку и потрогал шрам. Над бровью. Пальцем. Осторожно.

— Бо-бо, — сказал ты.

— Бо-бо, — сказал я.

— Ап, — сказал ты. И поднял руки.

Я взял тебя на руки.

Ты положил голову мне на плечо.

* * *

Я не буду писать, что я тогда почувствовал, Лёва. Не потому, что стыдно. Потому что не умею. Я сорок пять лет не умею.

Скажу только, что я стоял на траве у дома смотрителя, с тобой на руках, и ветер дул с моря, и маяк над нами молчал, потому что был день, — и я считал. Твоё дыхание. Ты дышал мне в шею. Двадцать два вдоха в минуту. Я сосчитал.

Двадцать два.

* * *

Ужинали у Марты.

Она накормила меня рыбным супом, двумя порциями, и хлебом, который печёт сама, и брусникой с сахаром. Олаф сидел во главе стола, молчал и курил трубку. Иногда кивал. Он почти не говорит по-английски. Я почти не говорю по-норвежски. Мы прекрасно поняли друг друга.

Ты сидел у меня на коленях. Весь ужин. Мама хотела забрать — ты не дался. Ты кормил меня брусникой. С ложки. Половину — мимо.

После ужина мама унесла тебя спать.

А мы с твоим папой сели на кухне в доме смотрителя. Он поставил чайник. Я положил на стол конверт.

* * *

Мама вернулась через двадцать минут.

Села напротив. Посмотрела на конверт.

Я видел, как она читает адрес. Её глаза — они двигаются не как у всех. Быстро. Рывками. Как сканер. Она прочитала три строки за секунду. Я видел — она прочитала. И замерла.

Долго молчала.

— «Той, которая отказалась», — сказала она. Тихо. — «Через руки друзей».

— Да.

— Ты не открывал.

— Нет.

Она перевернула конверт. Увидела знак. Круг с чертой.

Положила на стол. Ладонью сверху. Как кладут ладонь на руку человеку, который плачет.

— Максим, — сказала она.

— Вижу, — сказал твой папа.

* * *

Она открыла.

Вынула лист. Один. Сложенный вдвое. Та же бумага — кремовая, шершавая, из Фабриано. Те же коричневые чернила.

Развернула.

На листе — одна фраза. Посередине. Крупнее, чем на конверте. Тем же дрожащим почерком.

А под фразой — рисунок.

Пером. Быстрый. Неумелый. Как рисуют те, кто никогда не учился. Но точный. Очень точный.

Женщина на коленях. Перед чашей. Руки вытянуты вперёд. Ладони раскрыты. Над ладонями — несколько коротких штрихов. Язычки.

Огонь.

Над женщиной — дерево. Огромное. Ветви уходят за край листа.

Твоя мама смотрела на рисунок.

Я видел, как побелели её пальцы на краю листа.

Это была она, Лёва. Пятнадцатого марта. В Ромове. Когда она держала в ладонях огонь — и отдала его обратно.

Её там видели шестеро. Твой папа. Твой дед. Ирэна. Фосс. Брандт. И я.

И ещё — тот, кто нарисовал этот рисунок. В Риме. В двух тысячах километров.

* * *

— Читай, — сказал твой папа. Тихо.

Она читала.

— «Tu es quae recusavit», — сказала она. — «Veni, dum vivo». — Пауза. — Подпись: «S. V., S. I.».

— Переведи.

— «Ты та, которая отказалась. Приди, пока я жив». — Она помолчала. — В латыни нет «вы», Максим. Он написал «ты». Но по-русски он сказал бы «вы». Я уверена. Так пишут старые люди. «Вы та, кто отказалась. Приезжайте, пока я жив».

— S. I.? — спросил твой папа.

— Societas Iesu, — сказала мама. — Общество Иисуса. Иезуит.

— A S. V.?

— Не знаю. Имя. Инициалы.

Она смотрела на рисунок. На женщину с огнём. На дерево.

— Он видел, — сказала она. — Он видел меня. Пятнадцатого. Он видел, как я…

Она не договорила.

* * *

Я достал из внутреннего кармана свой листок.

Второй. Тот, который я полгода не понимал.

Развернул. Положил рядом с её листом. На стол. Под лампу.

Каменная комната. Подставка. Овальная тёмная вещь на подставке. Дверь с кругом и чертой. Старик на коленях. В длинной одежде до пола. Ладонь на черте.

Мама посмотрела на мой рисунок.

Потом на свой.

Потом на меня.

— Это откуда? — спросила она.

— С дуба, — сказал я. — Моя. Вторая. Из трёх. Поднялась в апреле.

Тишина.

— Ты не показывал, — сказал твой папа.

— Не показывал.

— Почему?

— Не понимал, — сказал я. — Я не знал этой комнаты. Я никогда там не был. Я думал — огонь ошибся.

— Огонь не ошибается, — сказала мама.

— Твой отец так же говорит.

Она смотрела на два рисунка. На свой — женщина перед огнём. На мой — старик перед дверью.

— Восьмого сентября она светилась, — сказал я. — Моя. Вторая. Сама. Минуту. Твой отец сказал — значит, кто-то зовёт. — Пауза. — Через одиннадцать дней пришёл конверт.

* * *

Мама долго молчала.

Потом положила палец на мой рисунок. На подставку. На овальную тёмную вещь на ней.

— Это — что? — спросила она.

— Не знаю. Плоское. Овальное. С ладонь. Может быть — зеркало.

— Эрнст что-нибудь говорил?

Я рассказал. Про тевтонцев. Про вещь, которую увезли из Ромове на юг. К папе. «Если знак придёт с юга — значит, вещь проснулась».

Мама слушала. Не перебивала. Её глаза — не двигались. Это бывает редко. Когда она не читает, а думает.

— Пятнадцатого марта, — сказала она медленно. — Я отдала огонь. И в ту же минуту в Риме, в каменной комнате, — вещь из Ромове проснулась. И показала ему. Старику. — Она подняла глаза. — Андрей. А тебе огонь показал его. В апреле. За полгода до письма.

— Да.

— То есть огонь знал, что он позовёт.

— Или знал, что я пойду, — сказал я.

* * *

Твой папа встал. Подошёл к окну.

За окном было темно. Маяк мигал. Белый свет — по скалам, по воде, по стеклу. Потом темно. Одиннадцать секунд. Опять свет.

Он стоял спиной к нам. Долго.

— Нет, — сказал он.

Мама не ответила.

— Соня, — сказал он. Не оборачиваясь. — Нет. Мы это уже проходили. Два раза. Два раза я думал, что тебя потеряю. В Херсонесе. В Ромове. — Пауза. — Лёве два года. Твой отец только что воскрес. Твоя мама только что перестала плакать по ночам. — Он обернулся. — Какой-то старик в Риме нарисовал тебя с огнём в руках. Это не приглашение. Это — прицел.

— Он пишет пером, — сказала мама.

— И что?

— Тот, кто целится, не пишет пером, Максим. — Она смотрела на него. — И не ставит на чужие руки. И не пишет «пока я жив».

Твой папа молчал.

— Он старый, — сказала мама. — Посмотри на почерк. Он дрожит. Он писал это, и у него дрожала рука. Он ждал. — Пауза. — Он ждал полгода, пока найдёт, через кого передать.

— Ты этого не знаешь.

— Знаю, — сказала она. И показала на дату в углу листа. Маленькую. Под подписью. Я её не заметил. Я заметил бы — если бы читал по-латыни.

«Id. Mart. MMXXIX».

— Пятнадцатое марта, — сказала мама. — Он написал это в тот же день. Утром. А отправил — в сентябре.

* * *

Мы сидели до двух ночи.

Мама и папа говорили. Я молчал. Я умею молчать. Это то, что я умею лучше всего.

Я не буду записывать, что они говорили. Это их.

Скажу только, что в два часа ночи твой папа встал, подошёл к маме, наклонился и поцеловал её в макушку. И сказал:

— Хорошо. Но я еду с тобой.

А потом посмотрел на меня.

— И он, — сказал твой папа.

Мама кивнула.

— И он.

Я ничего не сказал.

Я сидел за столом на кухне дома смотрителя, и маяк каждые одиннадцать секунд заливал кухню белым светом, и я думал — первый раз в жизни меня берут с собой. Не посылают. Не нанимают. Не приказывают.

Берут.

Глава 5. Канал

Остров с маяком. 3–5 октября 2029 года

«Тот, кто смотрит издалека, видит больше. Тот, кто смотрит вблизи, видит правду. Нужны оба».

Документ из Либереи. Запись Атлантиды. Лист двенадцатый, поля.

Жора вышел на связь в десять утра.

Ты его знаешь только по маминым рассказам и по папиным. Георгий Ильич Бочаров. Тридцать шесть лет. Живёт в Москве, в квартире на последнем этаже, с котом и тремя мониторами. Ведёт блог про открытые данные — как по самолётам, кораблям и спутникам видно, что делают правительства. Шестьсот тысяч подписчиков теперь. Его дважды вызывали «на беседу». Оба раза он вернулся.

Я его знаю по-другому.

Я знаю его досье. Я его писал. В ноябре двадцать шестого. «Бочаров Г. И., хакер-любитель, связь с объектом "Гордеев" через университетский форум, уровень угрозы низкий, рекомендовано: изъять технику, провести беседу». Через два дня его дверь вынесли. Мои люди. По моему приказу. Ты прочитаешь у папы.

Потом ему поставили новую. Белорусскую. Пять миллиметров стали. Анонимно. Оплаченную, с установкой.

Он так и не знает, кто.

Я не скажу.

* * *

Канал — это программа на старом ноутбуке твоего папы. Чёрный экран, белые буквы, никаких картинок. Жора написал её сам. Говорит — её нельзя взломать, потому что в ней нечего ломать. Я в этом понимаю мало. Я понимаю, что если через неё не прошло ни одной утечки за три года, — значит, он прав.

Видео там нет. Только текст. Но Жора умеет писать текстом так, что слышишь голос.

Твой папа открыл ноутбук. Набрал. Отодвинулся, чтобы я видел экран.

«Жор. Андрей здесь».

Пауза. Долгая. Курсор мигал.

Потом:

«Тихий?»

«Да», — написал я.

Опять пауза.

«Привет, Тихий, — написал Жора. — Дверь держит».

Я посмотрел на экран.

Я не знал, что ответить.

Твой папа смотрел на меня сбоку. Внимательно.

Я написал: «Хорошо».

«Ещё бы, — написал Жора. — Пять миллиметров. Я её каждое утро глажу. Как кота. — Пауза. — Ладно. Что надо?»

* * *

Мама рассказала ему. Коротко. Письмо из Рима. Иезуит. Инициалы S. V. Пятнадцатое марта. Рисунок. Про огонь она не писала — Жора про огонь знает и так, но в канале про огонь не пишут.

Жора не отвечал сорок минут.

Мы сидели на кухне. Мама кормила тебя кашей. Ты кормил кашей кота. Не нашего — Олафова, серого, старого, по имени Свейн. Свейн ел кашу с достоинством, как старый генерал на приёме.

Потом ноутбук пискнул.

* * *

«Есть, — написал Жора. — Это было нетрудно, ребята. Иезуитов с инициалами S. V. в Риме — трое. Один умер в двадцать втором. Второй — молодой, тридцать лет, преподаёт в Григорианском университете, вряд ли пишет пером. Третий — вот».

И ссылка. На документ. Скан.

Мама открыла.

Старый отчёт. Итальянский. «Ватиканская апостольская библиотека. Ежегодник. 1985». Страница со списком сотрудников. «Scriptores». Писцы. И в середине — строчка.

«P. Sebastiano Varano, S. I. (n. 1950), scriptor graecus».

— Отец Себастьяно Варано, — прочитала мама. — Общество Иисуса. Родился в пятидесятом. Писец греческих рукописей.

«Дальше, — писал Жора. — Девяносто пятый год — тоже он. Две тысячи пятый — тоже он, уже "старший скриптор". Пятнадцатый — "почётный скриптор". С тех пор — ничего. Ни статей, ни конференций, ни интервью. Двадцать лет тишины. В открытых базах — четыре статьи за всю жизнь. Все — про греческие палимпсесты. Одна — тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, в иезуитском журнале. Вот название».

Название было по-итальянски. Мама прочитала вслух. Потом перевела:

— «О некоторых металлических предметах неустановленного происхождения в собраниях Святого Престола. Предварительные заметки».

Тишина.

— Металлических, — сказал твой папа.

«Ага, — написал Жора. — Я тоже на этом слове споткнулся. Статьи в сети нет. Только название в библиографии. Журнал выходил тиражом триста экземпляров. Я поищу бумажный. Это неделя минимум».

«Где живёт?» — написал я.

«Иезуитская резиденция, Борго Санто-Спирито. Это двести метров от площади Святого Петра. Там у них главный дом. Генеральная курия. В интернете есть адрес, фотографии, всё. Большое жёлтое здание. Он, судя по всему, живёт там, при курии, в комнате для стариков. Им по уставу положено. Ему семьдесят девять».

* * *

Мама долго смотрела на экран.

— Писец греческих рукописей, — сказала она. — Пятьдесят лет в Ватиканской библиотеке. — Пауза. — Максим. Он видел Либерею.

— Что?

— Не Либерею. То, что от неё. — Она подняла голову. — Помнишь сорок девять листов? Ты считал. Когда мы их нашли — их было сорок девять. Но везде, где их описывали, — во всех описях, в «Сказании», в записке Ивана, — говорилось о пятидесяти. Ветлугин говорил. Он думал, пятидесятый потеряли в Смуту.

— Я помню.

— Софья Палеолог, — сказала мама. — Зоя. Она привезла Либерею из Рима. В семьдесят втором году. Пятнадцатого века. Её растили в Риме. При папском дворе. При Виссарионе Никейском — он собирал греческие рукописи всю жизнь. — Пауза. — Если пятидесятый остался где-то, Максим, то не в Москве. В Риме.

Ты в этот момент опрокинул на себя кашу.

Мама вытерла тебя. Не глядя. Продолжая смотреть на экран.

* * *

Потом я спросил Жору про деньги.

Не знаю, почему. Привычка. Девять лет я начинал с денег. Кто платит. Кому платят. Откуда. Куда. Люди врут, бумаги врут, деньги не врут почти никогда.

«Ватикан, — написал я. — Библиотека. Архив. Кто им давал деньги в этом году. Крупно. С апреля».

Жора молчал час.

Мама уложила тебя на дневной сон. Твой папа ушёл помогать Олафу — у Олафа на маяке что-то с проводкой. Я сидел перед ноутбуком.

Потом он ответил.

«Тихий, — написал Жора. — Ты как это сделал?»

«Что?»

«Как ты знал. — Пауза. — Апрель двадцать девятого. Двадцать второе число. Ватиканский апостольский архив объявляет о крупном пожертвовании на оцифровку "особых фондов XVI–XVII веков". Двенадцать миллионов евро. Самое большое частное пожертвование за всю историю архива. На пресс-релизе — фотография. Префект архива пожимает руку жертвователю. Это фонд. Называется "Andes Heritage Trust". Андское наследие. Зарегистрирован в Аргентине, в провинции Рио-Негро. Город Сан-Карлос-де-Барилоче».

Я смотрел на экран.

«Апрель, — писал Жора. — Через пять недель после пятнадцатого марта. — Пауза. — Совпадение?»

«Нет», — написал я.

«Я тоже так думаю. — Пауза. — Совет фонда. Публичный. Пять человек. Двое — аргентинские юристы. Один — бывший министр провинции. Одна — вдова какого-то промышленника. И председатель».

Курсор мигал.

«Элиас Штерн», — написал Жора.

* * *

Я встал из-за стола.

Подошёл к окну. За окном было море. Серое. С белыми гребешками. Чайка на камне. Олаф — маленький, далёкий — на площадке маяка, у стекла. С ним твой папа. Что-то показывает.

Я стоял и смотрел на море.

Штерн никогда не говорил о семье. Девять лет. Ни слова. Ни о жене — я узнал, что у него была жена, из досье, а не от него. Ни о родителях. Ни о детях — детей у него не было. Он был человек без прошлого. Он говорил — прошлое интересно только как товар.

Один раз.

Один раз, в восемнадцатом году, в Женеве, в машине. Мы ехали с какой-то встречи. Ночь. Дождь. Ему позвонили. Он посмотрел на экран. Не взял. Положил телефон экраном вниз. Сказал — не мне, в окно:

— Мой двоюродный брат. Из пампы. Сорок лет думает, что я украл у него фамилию.

Я ничего не сказал. Я никогда ничего не говорил.

Он помолчал. Потом добавил:

— Самое смешное, Андрей, что он прав.

И больше никогда не возвращался к этому.

* * *

Я вернулся к ноутбуку.

«Фотография», — написал я.

Жора прислал.

Пресс-релиз Ватиканского архива. Зал. Деревянные панели, книжные шкафы до потолка. Двое мужчин пожимают руки. Один — высокий, в чёрном, с красным поясом. Префект. Лица я не стал рассматривать — ты понимаешь, Лёва, почему. Это священник при должности, а не человек, про которого я пишу.

Второй — ниже. Шестьдесят с небольшим. Плотный. Загорелый. В светлом костюме. Седые волосы зачёсаны назад. Улыбается.

Лицо — не Штерна. Шире. Проще. Но глаза — я смотрел на глаза долго — глаза были его. Серые. Светлые. Внимательные. Так смотрят люди, которые всегда знают, сколько стоит то, что перед ними.

И ещё одно.

Справа, за спиной у Элиаса Штерна, у книжного шкафа, почти за кадром — третий. В тёмном пиджаке. Без галстука. Руки сложены впереди. Смотрит не на рукопожатие, а в зал. На двери. На окна.

Так стоят охранники. Так стоял я.

Я увеличил.

Лицо — молодое. Сорок. Светлые волосы. Короткие. Нос с горбинкой — перебит. Давно. Я помнил, когда. Я помнил, кто.

* * *

«Жора, — написал я. — Человек справа. За спиной».

«Охрана, наверное».

«Его зовут Марек Ольша. Поляк. Сорок один. Бывший "Кербер"».

Пауза.

«Ты его знаешь», — написал Жора. Не спросил.

«Я его нанимал, — написал я. — В девятнадцатом. Он был моим подчинённым семь лет. Хороший. Быстрый. Умный. Не задаёт вопросов».

«А нос?»

«Нос — Тбилиси. Двадцать первый год. Не я».

Пауза. Долгая.

Потом Жора написал:

«Тихий. Я понимаю, это не моё дело. Но ты сейчас на этой фотографии видишь не охранника. Ты видишь себя. Десять лет назад. Да?»

Я не ответил.

Я закрыл ноутбук.

* * *

Вечером, когда ты спал, мы сели втроём.

Мама. Папа. Я. Кухня. Чайник. Маяк в окне.

— Элиас Штерн, — сказал твой папа. — Двоюродный брат.

— Да.

— Чего он хочет?

— Того же, что и Виктор, — сказал я. — Только Виктор хотел Архив. А этот… — Я подумал. — Этот, наверное, хочет, чтобы его наконец признали Штерном.

Мама смотрела на меня.

— Это ты по фотографии понял?

— Это я по одному звонку понял, — сказал я. — Десять лет назад.

* * *

Решили так.

Едут трое. Мама — потому что письмо ей. Папа — потому что мама. Я — потому что мой рисунок и потому что Марек.

Ты остаёшься. С Мартой и Олафом. И с бабушкой — она приедет из Янтарного седьмого. Твой дед не может: восьмого — новолуние. Он спустится к огню. Один. Первый раз с апреля — один. Он сказал по телефону: «Двадцать лет ходил один. Ещё раз схожу». Голос был спокойный. Я знаю, что он соврал. Он не хотел, чтобы я ехал. Но сказал «езжай».

Мама написала письмо. Ответ. На той же бумаге не получилось — у Марты нашлась только писчая, в клеточку. Мама сказала: «Он поймёт». Написала по-латыни. Три строки. Мне не перевела. Сказала: «Это ему. Не тебе».

Я спросил, как мы его отправим.

Мама посмотрела на меня.

— Через руки друзей, — сказала она. — Ирэна. Её курьер. Римлянка.

— Мы не знаем, кто курьер.

— Узнаем, — сказала мама. — Жора узнает.

* * *

Жора узнал к полуночи.

Он прислал последнее сообщение, когда все уже легли. Я не спал. Я сидел на кухне. Ноутбук пискнул.

«Тихий. Ещё не спишь? Знаю, что не спишь. Курьер. Ирэна сказала — молодая, итальянка, римский выговор, в Женеве четырнадцатого сентября. Я посмотрел списки пассажиров. Рим — Женева, тринадцатое — четырнадцатое. Открытые, по программе лояльности авиакомпании, там люди сами публикуют, не спрашивай. Двадцать две женщины от двадцати до сорока. Одна из них — сотрудница Ватиканской библиотеки. Это есть в её профиле на профессиональном сайте. Палеограф. Реставратор пергаментов. Тридцать один год. Кьяра Росси».

Пауза.

«И ещё. Я её нашёл на трёх фотографиях из открытых источников. Конференции, музейные открытия, всякое. Сентябрь, Рим. На всех трёх за ней в толпе стоит один и тот же человек. Сзади. Метрах в пяти».

Пауза.

«Нос с горбинкой. Тбилиси, двадцать первый».

Я смотрел на экран.

«Тихий, — написал Жора. — Он за ней ходит».

Глава 6. Барилоче

Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина. 14 сентября 2029 года

«Тот, кто пришёл за наследством, всегда приходит вовремя. Тот, кто пришёл за собой, — всегда опаздывает».

Документ из Либереи. Запись Шамбалы. Лист сорок первый, поля.

Этой главы я не видел, Лёва.

Её мне рассказал сам Элиас Штерн. Потом. В конце. На террасе замка Святого Ангела, на рассвете, когда нам обоим уже нечего было терять и некуда было торопиться. Он рассказывал долго. Я слушал. Кое-что я потом проверил по бумагам — по его бумагам, которые остались в Риме. Кое-что проверить нельзя.

Я пишу, как он рассказал. Своими словами. Его слов я не помню точно. Но я помню, как он говорил.

Он говорил, как человек, который сорок лет ждал, что его спросят.

* * *

Озеро Науэль-Уапи в сентябре — синее, как чернила.

Сентябрь в Аргентине — весна. Снег ещё лежит на вершинах вокруг озера, на Катедрале, на Лопесе, на Тронадоре, а внизу, у воды, уже цветут какие-то жёлтые кусты, и по утрам над озером стоит туман, и туман пахнет снегом и сосной.

Дом Элиаса Штерна стоит на склоне, над водой, в пятнадцати километрах от города. Большой. Деревянный. С острыми крышами. Его строил ещё дед. Эрих. В пятьдесят втором. Тогда здесь строили так все, кто приехал из Европы. Дома как в Баварии. Как в Тироле. Как в Швейцарии. Чтобы, проснувшись утром и выглянув в окно, увидеть горы, сосны, озеро — и на секунду забыть, что за этим окном — другое полушарие.

В Барилоче много таких домов. В пятидесятые годы туда приехали многие. Некоторых потом нашли. Некоторых — нет.

Эриха Штерна не нашли.

Он умер в своей постели, в этом доме, в феврале семьдесят девятого года, семидесяти четырёх лет. Ты будешь учить историю, Лёва. Ты узнаешь, кто тогда жил в таких домах в Барилоче. Я не буду тебе объяснять. Я скажу только, что Элиас сам рассказал мне об этом первым. Не я спросил. Он сказал. Как будто хотел, чтобы это было сказано раньше всего остального.

* * *

Четырнадцатого сентября Элиас Штерн сидел в кабинете деда.

Шесть утра. Туман над озером. Камин. Кофе. На столе — то, что лежало на этом столе пятьдесят лет. Три тетради в кожаных обложках. Пачка писем, перевязанная лентой. И листок. Маленький, вырванный из блокнота, пожелтевший, с карандашной строчкой по-латыни. В рамке под стеклом.

«Принято на хранение. Вернуть предъявителю, когда он будет готов. И. Ф.»

Элиас знал эту строчку с пяти лет.

Дед показал её ему, когда он был маленький. Посадил на колени. В этом же кабинете. Снял рамку со стены. Сказал: «Читай». Элиас не умел по-латыни. Дед прочитал за него. Медленно. По словам. Потом перевёл.

— Это наше, — сказал дед. — Это у нас взяли. Священник. Молодой. В Риме. Я отдал — на время. Штерны всегда возвращаются за своим, Эли. Если я не успею — твой отец. Если не он — ты.

— А что там? — спросил Элиас. Пятилетний.

Дед помолчал.

— Ключ, — сказал он. — Кусочек ключа. От двери, которую я видел. Белой. Под землёй. В Крыму. Самая большая дверь на свете, Эли. За ней — всё. Все знания мира. Все ответы. Я стоял перед ней. Вот так, как ты сейчас стоишь перед камином. И не смог открыть. — Он смотрел на огонь. — Но однажды Штерн откроет.

* * *

Отец Элиаса, Хельмут, не открыл.

Хельмут был младшим. Альберт — старшим. Альберт уехал из Аргентины в шестьдесят первом. В Швейцарию. Там у семьи оставались деньги — те, о которых не говорили. Альберт был умный, светлый, красивый. Альберт закончил университет в Цюрихе, женился на дочери банкира, сменил одну букву в фамилии на бумагах, потом поменял обратно, когда стало можно. Альберт стал человеком. Уважаемым. Европейским. Его сын — Виктор — родился в Цюрихе в шестьдесят шестом и никогда в жизни не видел Барилоче.

Хельмут остался.

Хельмут был младшим, некрасивым, медленным. Хельмут остался с отцом. Ухаживал за ним, когда тот слёг. Похоронил его на маленьком кладбище над озером. Унаследовал дом, три тетради, пачку писем и листок в рамке. И лесопилку. Которая через десять лет разорилась.

Альберт не приехал на похороны отца.

Он прислал венок. И письмо. В письме было написано: «Дорогой брат. Прошлое надо хоронить вместе с мёртвыми. Не храни его бумаги. Сожги. Так будет лучше для всех нас. Твой А.».

Хельмут не сжёг.

Хельмут повесил рамку обратно на стену. И сказал сыну — Элиасу было одиннадцать: «Вот это мы с тобой и будем хранить. Раз у нас больше ничего нет».

* * *

Элиас рассказывал мне это на террасе. На рассвете. Над Тибром. Под ангелом.

Он сказал:

— Знаешь, Андрей, что самое смешное? Виктор получил всё. Деньги. Имя. Университет. «Прометей». Отдел перспективных технологий. Он искал Херсонес двадцать лет — на деньги, которые дед вывез из Европы. А дед отдал ключ — нам. Не Альберту. Нам. Отцу и мне. Тетради. Расписку. — Он засмеялся. — Виктор искал дверь. А у нас был кусок от неё. В рамке. На стене. Пятьдесят лет.

— Он знал? — спросил я.

— Знал, — сказал Элиас. — Я ему сказал. В двухтысячном. Я прилетел в Цюрих. Первый раз в жизни. Пришёл к нему в контору. Положил на стол копию расписки. Сказал: давай вместе. Ты — деньги. Я — бумаги. Мы же Штерны.

— И что он?

Элиас долго молчал.

— Он прочитал, — сказал Элиас. — Вежливо. Внимательно. Поблагодарил. Сказал, что это интересно как историческая курьёзность. Что Ватикан никогда не вернёт ничего по карандашной расписке пятидесятилетней давности. Что он сам займётся «линией Херсонеса» своими методами. Что я могу оставить копию — он покажет юристам. — Пауза. — Он предложил мне работу. Управляющим. В филиале «Прометея» в Буэнос-Айресе. Хорошую зарплату.

— Ты отказался?

— Я согласился, — сказал Элиас. — Я проработал там четыре года. Он ни разу не позвонил. — Он смотрел на реку. — Потом позвонил. Один раз. В восемнадцатом. Я был в Женеве по делам. Набрал его. Он не взял трубку.

Я молчал.

Я помнил ту машину. Тот дождь. Тот экран, повёрнутый вниз.

«Мой двоюродный брат. Из пампы».

* * *

Это — прошлое, Лёва. Теперь — четырнадцатое сентября.

Элиас сидел в кабинете деда. Шесть утра. Кофе остыл. Он ждал звонка.

Звонок пришёл в шесть сорок.

— Слушаю.

— Это Ольша. — Голос Марека. Ровный. Без интонаций. По-английски. Я учил его так говорить. — Девушка вылетела в Женеву вчера вечером. Сегодня в одиннадцать двадцать по местному вошла в здание на Рю-дю-Рон. Юридическая контора. Третий этаж. Вышла через двенадцать минут. Без конверта.

— Чья контора?

— Келлер.

Элиас закрыл глаза.

Ирэна. Бывшая жена Виктора. Он видел её один раз. В двухтысячном. В приёмной у Виктора. Высокая, светлая, строгая. Она тогда принесла ему кофе. Сама. Не секретарша. Улыбнулась. Сказала по-испански — плохо, но старательно: «Добро пожаловать в Цюрих». Единственный человек в той конторе, который сказал ему «добро пожаловать».

— Значит, старик позвал её через Келлер, — сказал Элиас.

— Через Келлер — к кому-то ещё, — сказал Марек. — Келлер не та, кто отказалась. Келлер была внизу, но огонь брала не она. Наш источник говорит — русская. Ланская. Криптограф. Та, что была с Виктором Штерном в Херсонесе.

— Источник надёжный?

— Он стоял на краю поляны с автоматом, — сказал Марек. — Он видел, как она держала огонь в руках. Он до сих пор не спит по ночам. Мы ему хорошо заплатили. Он рассказал всё.

* * *

Элиас встал. Подошёл к окну.

Туман над озером расходился. Внизу, у причала, качалась на воде лодка. Его лодка. Белая. Он купил её в девяностом, когда закрыл лесопилку и открыл первый отель. Сейчас у него было четыре отеля, два горнолыжных склона, доля в аэропорту и фонд с длинным названием, который в апреле дал Ватикану двенадцать миллионов евро.

Он заработал их сам. Каждый песо. Без Альберта. Без Виктора. Без Цюриха.

— Ольша, — сказал он. — Старик. Варано. Он нас видел?

— Видел. В апреле. На приёме у префекта. Когда вы показывали расписку.

— И?

— И ничего. Префект сказал вам — будем изучать. Варано стоял в углу. Молчал. Потом ушёл. — Пауза. — Префект изучает до сих пор. Он хочет денег на следующий год. Он не скажет «нет». Но и не скажет «да». А без Варано он не знает, где лежит то, что вам должны. Никто не знает. Только старик.

— А старик не скажет.

— Старик не скажет, — согласился Марек. — Я смотрел за ним полгода. Он ходит в библиотеку, в архив, в церковь и в аптеку. Больше никуда. Ни с кем не говорит, кроме девушки. Росси. Его ученица. Он не боится. Его нечем напугать. У него ничего нет.

* * *

Элиас стоял у окна.

Он думал о деде. О белой двери в Крыму. О куске от неё — в рамке на стене. Нет, не в рамке. В рамке — расписка. Кусок — в Риме. Пятьдесят лет. В шкафу, номера которого нет.

Дед рассказывал, перед смертью, — Элиасу было одиннадцать, он сидел у кровати, — что в Риме, в сорок седьмом, кроме молодого священника, был ещё один человек. Немец. Тоже священник. Который помогал. Который сказал деду про шкаф. Который сказал: «Там пятьдесят листов, доктор. Нет, сорок девять уехали в Москву, к царю. А пятидесятый — здесь.

И он — главный. Он — тот, что открывает белые двери. Без него остальные сорок девять — просто записки».

Дед ему поверил. Дед искал этот лист. Тридцать лет. Из Аргентины. Письмами. Деньгами. Через людей.

Не нашёл.

— Ольша, — сказал Элиас. — Чего ждёт старик?

— Её, — сказал Марек. — Он послал письмо. Значит, ждёт её.

— Зачем?

Марек помолчал.

— Мой источник говорит, — сказал он, — что внизу, в Ромове, у огня, отец Ланской сказал одну вещь. Что огонь не отдают тем, кто его хочет. Что его отдают только тем, кто отказался. — Пауза. — Я думаю, в Риме — так же. Я думаю, у старика есть дверь. И она не открывается. И он ждёт ту, которая отказалась. Чтобы открыть.

* * *

Элиас Штерн засмеялся.

Тихо. В пустом кабинете. Перед окном, за которым расходился туман над синим, как чернила, озером.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Пусть приходит.

— Сеньор Штерн?

— Нам не нужно ломать, Ольша, — сказал Элиас. — Нам не нужно угрожать старику. Не нужно давить на префекта. Не нужно ничего. Нам нужно только одно — пройти в дверь сразу за ней. На шаг позади. — Пауза. — Как ваш бывший начальник ходил за ней по всей России. Два года. Тихо. Вы же этому у него учились?

Марек не ответил.

— Ольша?

— Да, сеньор Штерн, — сказал Марек. — Этому.

— Сколько у вас людей в Риме?

— Четверо. Плюс двое местных. Плюс водопроводчик.

— Кто?

— Человек из городской службы водоснабжения. Пятьдесят восемь лет. Тридцать лет работает в подземных коммуникациях Борго. Знает все старые трубы, все колодцы, все акведуки. — Пауза. — Если дверь внизу, сеньор Штерн, — к ней ведёт не только лестница. В Риме под землёй везде вода. А по воде можно пройти куда угодно.

* * *

Элиас положил трубку.

Подошёл к стене. Снял рамку. Посмотрел на листок. На карандашную строчку. На изжёванный — он всегда это видел, с пяти лет, — изжёванный след на краю, там, где священник держал во рту карандаш.

«Вернуть предъявителю, когда он будет готов».

Он всю жизнь думал, что знает, что это значит. «Когда будет готов» — когда придёт. Когда заплатит. Когда предъявит.

Он не знал.

Это он мне тоже сказал. Там, на террасе. На рассвете. Над Тибром.

Он сказал:

— Я шестьдесят один год читал эту строчку, Андрей. И ни разу не спросил себя — а к чему готов? — Пауза. — Дед спросил. Сразу. Священник ему сказал: «Вы поймёте. Или нет». — Он смотрел на ангела над нами. — Дед не понял. Отец не понял. Я — понял. Сегодня. Здесь. В шестьдесят один год.

Но это было потом.

А четырнадцатого сентября он положил рамку в портфель. Вместе с тремя тетрадями. И заказал самолёт на Рим.

Глава 7. Цюрих

Цюрих. 7 октября 2029 года

«Тот, кто ушёл, оставляет дверь. Тот, кто остался, — ключ. Они редко встречаются». Документ из Либереи. Запись Чуди. Лист тридцать первый, поля.

Мы поехали разными дорогами.

Это я настоял. Твоя мама и твой папа — через Осло, прямым рейсом на Рим, девятого. По своим паспортам. С письмом из Института восточных рукописей — твоя мама позвонила своему старому научному руководителю в Петербург, и он, ни о чём не спрашивая, написал на бланке: «Направляется для работы с греческими рукописями собраний Ватиканской апостольской библиотеки». Подписал. Поставил печать. Прислал скан. Сказал по телефону: «Соня, я двадцать лет ждал, когда ты меня о чём-нибудь попросишь».

А я — через Цюрих. На два дня раньше.

Твой папа спросил — зачем.

Я сказал:

— Затем, что если за вами будут смотреть, — смотреть будут на вас. А я приеду сбоку.

— Как раньше, — сказал твой папа.

— Как раньше, — сказал я. — Только наоборот.

* * *

Ирэна живёт на Цюрихберге.

Это гора над городом. Не гора — холм. Лес, виллы, тихие улицы, трамвай, который ползёт вверх медленно, как старик по лестнице. Я ездил туда в восемнадцатом. С Штерном. Он тогда ещё жил там. С ней. Нет — уже не с ней. Они развелись в тринадцатом. Он жил в городе, у озера. А на Цюрихберг ездил раз в месяц. Забирать какие-то бумаги. Я ждал в машине. Двадцать минут. Каждый раз — двадцать минут. Я засекал.

Теперь я поднялся на трамвае.

Вышел на конечной. Пошёл пешком. Шестьсот сорок шагов. Мимо зоопарка. Мимо кладбища. Мимо виллы с собакой за забором. Собака на меня не залаяла. Собаки на меня никогда не лают. Я не знаю почему. Эрнст говорит — потому что от меня ничем не пахнет. Я не знаю, комплимент это или нет.

Дом — белый, трёхэтажный, с зелёными ставнями. Квартира — на втором. Табличка на двери — медная, маленькая. «I. Keller».

Я позвонил.

* * *

Она открыла сразу. Как будто стояла за дверью.

Высокая. Светлая. Седая — коротко стриженная, как я. Шестьдесят. Похудела с марта. Сильно. Мама писала — у неё нашли воспаление лёгких после Ромове. Неделя в больнице. Потом ещё месяц. Под глазами — тени. Но спина — прямая. И глаза — серые, строгие, ясные.

Она смотрела на меня.

На волосы. На шрам. На руку.

— Андрей, — сказала она.

— Фрау Келлер.

— Ирэна, — сказала она. — Пожалуйста. Внизу, у огня, вы называли меня Ирэна. Когда вытаскивали из воды.

— Я не помню.

— Я помню, — сказала она. — Входите.

* * *

Квартира была пустая.

Не бедная — пустая. Большая гостиная, высокие потолки, паркет, окна на лес. Диван. Кресло. Стол. Книжные полки — до потолка, полные. Пианино. Ковёр. И больше ничего. Ни картин, ни фотографий, ни безделушек. Как номер в хорошем отеле, в котором живут давно и не собираются задерживаться.

Она увидела, как я смотрю.

— Я раздала, — сказала она. — После мая. Мебель, картины, посуду. Всё, что было от тех лет. Оставила книги. И пианино. Пианино — моей матери.

— Почему?

Она подумала.

— Потому что в Ромове я поняла, сколько лет я жила в доме, который обставлял человек, ушедший из него в тринадцатом году, — сказала Ирэна. — Шестнадцать лет. Я не замечала. Я каждое утро пила кофе из его чашки. — Пауза. — Садитесь. Я сварю кофе. Из своей.

* * *

Мы пили кофе у окна.

За окном — лес. Буковый. Жёлтый уже, октябрьский. Белка на ветке. Где-то внизу — трамвай. Город. Озеро. Горы — далеко, белые, в дымке.

Я рассказал ей.

Не всё. Про письмо. Про рисунок. Про Варано. Про пятнадцатое марта. Про фонд «Андское наследие» и двенадцать миллионов.

Про Элиаса.

Когда я сказал это имя — она поставила чашку на блюдце. Очень аккуратно. Без звука.

— Элиас, — сказала она.

— Вы его знаете.

— Видела. Один раз. — Она смотрела в окно. — Двухтысячный год. Март. Я зашла к Виктору в контору — у нас были билеты в оперу, он забыл. В приёмной сидел человек. Плотный. Загорелый. В плохом костюме — в слишком хорошем костюме, который ему не шёл, вы понимаете? Купленном специально. Сидел очень прямо. С папкой на коленях. Ждал. Секретарша сказала — герр Штерн занят, просил подождать. Он ждал уже час.

— Вы с ним говорили?

— Я принесла ему кофе, — сказала Ирэна. — Сама. Секретарша не принесла. Я не знаю, почему. Я увидела человека, который час сидит с папкой на коленях, и мне стало… — Она не договорила. — Я сказала ему «добро пожаловать в Цюрих». По-испански. Плохо. Я учила испанский в университете и почти всё забыла. Он улыбнулся. Он так улыбнулся, Андрей. Как ребёнок, которому дали конфету. Взрослый человек. Тридцать два года.

— А потом?

— А потом Виктор вышел из кабинета. Увидел его. Увидел меня с кофейником. — Пауза. — И сказал мне по-немецки, при нём, будто тот не понимает: «Ирэна, это мой кузен из провинции. Он ненадолго».

Она помолчала.

— Он понимал по-немецки, — сказала она. — Конечно. Он вырос в доме, где говорили по-немецки. Я видела его лицо.

* * *

Я рассказал ей про машину. Про дождь. Про экран, повёрнутый вниз.

«Мой двоюродный брат. Из пампы. Сорок лет думает, что я украл у него фамилию».

«Самое смешное, Андрей, что он прав».

Ирэна слушала. Не перебивала. Когда я закончил, она долго молчала.

Потом встала. Подошла к книжной полке. Сняла папку. Старую, картонную, серую, с завязками. Вернулась. Положила на стол передо мной.

— Это Виктора, — сказала она. — Он оставил её здесь. В тринадцатом. Вместе с половиной вещей. Я не открывала. Шестнадцать лет. В мае — открыла.

Я развязал завязки.

Внутри — бумаги. Немного. Письма. Вырезки. Фотографии — старые, чёрно-белые. Озеро. Деревянный дом с острой крышей. Двое мальчиков у причала. Один — светлый, тонкий, в матросском костюме. Второй — ниже, плотнее, в шортах, загорелый, с удочкой.

На обороте — карандашом, детским почерком, по-немецки: «Виктор и Эли. Барилоче. 1974».

— Виктору восемь, — сказала Ирэна. — Альберт привёз его к деду. Один раз. На лето. Единственный раз. Виктор потом никогда об этом не говорил. Но фотографию хранил.

Под фотографией — листок. Сложенный. Почерк Штерна. Ровный, наклонный, острый — я узнал бы его из тысячи. Я читал его девять лет. Каждый день.

Ирэна развернула.

По-немецки. Три строки. Дата — апрель двухтысячного. Через месяц после того визита.

Ирэна перевела. Медленно. Глядя на лист.

«Барилоче. Расписка Ферро — подлинная. Шкаф существует. Не трогать: Эли верит. Пусть у него останется хоть что-то, что я не отнял».

* * *

Я сидел и смотрел на эти три строки.

Не трогать.

Я девять лет работал на этого человека. Я знал его папки. Все. «Балтика. Отложено». «Херсонес». «Ланская». «Гордеев». «Александров». Я знал, что значит у него «не трогать». Это значило — пока. Это значило — потом. Это значило — когда понадобится.

Здесь это значило другое.

Здесь это значило — не трогать.

— Он знал, — сказал я. — Про шкаф. Про Рим. С двухтысячного года.

— Знал, — сказала Ирэна.

— И не пошёл.

— Не пошёл, — сказала она. — Двадцать девять лет он искал Херсонес. Искал Балтику. Искал всё. Тратил миллионы. Нанимал вас. А в Рим — не пошёл. Хотя знал. — Пауза. — Потому что Рим был у Эли. Это было единственное, что было у Эли.

Она сложила листок. Положила обратно в папку.

— Он не был хорошим человеком, Андрей, — сказала она. — Вы знаете это лучше меня. Но он не был только плохим. Никто не бывает только.

— Я знаю, — сказал я.

* * *

Потом она спросила о куртке.

Я знал, что спросит. Я ждал этого с того момента, как поднялся на её этаж.

— Софья написала мне в мае, — сказала Ирэна. — Что вы его укрыли. Своей курткой. Перед Холодом. — Она смотрела на меня. — Я хочу знать — как. Что он сказал. Последнее. Если можно.

Я рассказал.

Зал итогов. Иней на полу. Он сидит перед колонной, скрестив ноги, как мальчик, и смотрит на Ана-Тиу. Двести восемьдесят ударов колокола. «Вставайте». Он не встаёт.

«Вы знаете, почему я назвал вас Тихим?»

«Потому что вы были единственным человеком в "Кербере", который никогда не повышал голос».

«Мне казалось, что тихие — самые опасные. Я ошибался. Тихие — самые…»

— Он не договорил, — сказал я. — Сказал: «Неважно. Идите». Я снял куртку. Укрыл. Ушёл.

Ирэна сидела очень прямо.

Она не плакала. Она сидела, держа чашку обеими руками, и смотрела на меня, и лицо её было неподвижно.

— Одинокие, — сказала она.

— Что?

— «Тихие — самые одинокие», — сказала Ирэна. — Он это хотел сказать. Он так говорил про себя. Когда мы ещё были вместе. В первые годы. Поздно ночью, когда выпьет. Он говорил: «Я тихий, Ирэна. Тихие — самые одинокие. Их никто не слышит, даже когда они кричат». — Пауза. — Я тогда думала, это поза. Красивая фраза. Он любил красивые фразы.

Она поставила чашку.

— Он сказал это вам, Андрей. Почти сказал. Он увидел в вас себя.

* * *

Мы сидели молча.

Белка за окном перебежала на другую ветку. Внизу прозвенел трамвай.

— Элиас мне писал, — сказала Ирэна. — В июле. Письмо. На бумаге. По-испански, с переводом на немецкий — он сам перевёл, с ошибками. Писал, что знает про Херсонес. Что знает, что Виктор там. Что хочет его вернуть. Что у него есть способ. Что ему нужна моя помощь. Что мы — единственные двое на свете, кому Виктор не безразличен.

— Вы ответили?

— Нет.

— Почему?

Она помолчала.

— Потому что я испугалась, — сказала она. — Что соглашусь. — Пауза. — В Ромове я стояла у огня. И хотела взять. Чтобы отнести в Херсонес. Чтобы он проснулся. Я хотела этого больше всего на свете. Софья взяла — и отдала. А я до сих пор не знаю, отдала бы я.

Она посмотрела на меня.

— Если Элиас придёт ко мне и скажет: «Ирэна, вот ключ, он откроет, Виктор встанет» — я не знаю, что я сделаю, Андрей. Я честно не знаю.

* * *

Я ушёл в пять.

Она проводила меня до двери. На пороге остановила. Сунула в руку конверт.

— Деньги, — сказала она. — На расходы. Рим дорогой.

— Не надо.

— Надо, — сказала Ирэна. — Это не «Прометея». Это моё. Я тридцать лет была юристом. Я зарабатывала сама. Мне не на что их тратить. — Пауза. — У вас нет денег, Андрей. Я знаю. Вы живёте в сарае и собираете смолу.

Я взял.

— Ирэна, — сказал я. — Если он придёт к вам. Элиас. С ключом.

— Да?

— Позвоните мне. Перед тем, как решите.

Она смотрела на меня.

— Зачем?

— Затем, что одной не надо решать, — сказал я. — Я это в Ромове понял. Когда она стояла у чаши и мы все стояли рядом.

Ирэна долго молчала.

Потом сказала:

— Хорошо.

И закрыла дверь.

* * *

Я спустился по лестнице. Вышел на улицу. Пошёл к трамваю. Шестьсот сорок шагов. Мимо виллы с собакой. Мимо кладбища. Мимо зоопарка.

На остановке я сел на скамейку. Достал из кармана телефон. Новый — Жора прислал мне его на остров, с каналом внутри.

Одно сообщение. От Жоры. Полчаса назад.

«Тихий. Самолёт. Частный. "Гольфстрим". Барилоче — Рим. Сел в Чампино сегодня в 14:10. Владелец по реестру — Andes Heritage Trust. — Пауза. — И ещё. Марек Ольша зарегистрировался в отеле на виа делла Кончилиационе. Окна на площадь Святого Петра. Номер на неделю. Оплачен вчера».

Я убрал телефон.

Подошёл трамвай.

Я сел в него и поехал вниз, в город. К вокзалу. К ночному поезду на Милан. Оттуда — на Рим.

Самолётом я больше не полечу, Лёва. Не в этот раз. На самолёт смотрят. На поезд — нет.

Глава 8. Рим

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.